

и
л

и
л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Джордж
Оруэлл
СКОТНЫЙ
Двор

Джордж Оруэлл · Скотный Двор



20
02



ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

George Orwell

Джордж Оруэлл

СКОТНЫЙ ДВОР

Сказка

Эссе

Статьи

Рецензии

Перевод с английского

*Предисловие и составление
А. Зверева*

Москва
«Известия»
1989

И (Англ)
Ор 63

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор А. Николаевская

Рецензент В. Скороденко

Н а о б л о ж к е: ПАБЛО ПИКАССО.
Голова быка. Эскиз к «Гернике». 1937

О $\frac{4703000000-015}{074(02)-89}$ 75-89

ISBN 5-206-00037-X

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1989

Неудобный собеседник

Пять лет назад на Западе отметили литературное событие особого рода: не памятную писательскую дату, не годовщину появления знаменитой книги, а юбилей заглавия. Случай, кажется, уникальный; наверняка таким он и останется. Празднества всегда приурочивают к внешним поводам, а здесь повод дала просто хронология. Свой самый известный роман Джордж Оруэлл назвал «1984». Вряд ли он думал, что эти цифры наполнятся неким магическим значением. Время показало, что произошло именно так.

Юбилей отмечали широко. Была сделана экранизация (уж кстати перенесли на экран и другую прославленную книгу Оруэлла «Скотный Двор», выбрав для этого, видимо, единственно возможную форму: мультипликацию). Прошло несколько международных симпозиумов. Появилось десятка полтора сочинений очень разного содержания и направленности: от мемуаров до капитальных политологических штудий, от безоговорочных славословий до сокрушающей критики или, по меньшей мере, насмешливых укоризн несостоятельному пророку.

И к этим сочинениям, и вообще к бурной активности, ознаменовавшей «год Оруэлла», всяк волен относиться по-своему. Однако надо признать неоспоримое: произведения английского писателя затронули какую-то исключительно чувствительную струну общественного самосознания. Поэтому их резонанс оказался долгим, провоцируя дискуссии, впрямую касающиеся труднейших вопросов, которые поставила история нашего столетия. Этого не скажешь о многих книгах, объективно обладающих более высоким художественным достоинством, во всяком случае, более высоким престижем, подразумевая собственно эстетический аспект.

Любопытно, что заглавие романа, вызвавшего такой страстный и разноречивый отклик, было найдено Оруэллом

по чистому случаю. Рукопись, законченная осенью 1948 года, оставалась безымянной — не подошел ни один из вариантов названия. На последней странице стояла дата, когда Оруэлл завершил авторскую правку. Он переставил в этой дате две последние цифры.

Через полтора года он умер. Ему было всего сорок шесть лет.

Никто, впрочем, не назовет эту краткую по срокам биографию скудной событиями.

Первые читатели знали Оруэлла под его настоящим именем Эрик Блэр. Этих читателей было совсем немного. В 30-е годы Оруэлл почти не выделялся среди начинающих. Время было такое, что вера в близкое всемирное торжество социализма, сопровождавшаяся категорическим неприятием буржуазных и мещанских понятий, считалась у молодого поколения в порядке вещей; Оруэлл разделял ее едва ли не целиком.

Он описывал гнетущую нищету рабочих кварталов в промышленных городах английского Севера («Дорога на Риган-Пир», 1937) и убожество помыслов, устремлений, всего круга жизни благополучного «среднего сословия», с которым никак не поладит герой-мечтатель, вдохновляющийся расплывчатыми высокими идеалами («Пусть геранька цветет», 1936). Его романы — и оба упомянутых, и «Дочь священника» (1935) — остались едва замеченными. Их более чем скромная литературная репутация не изменилась даже после грандиозного успеха «1984».

Сам Оруэлл готов был согласиться с критиками, упрекавшими его за бедность художественного воображения и небрежности стиля. О себе он неизменно отзывался как об «умелом памфлетисте», не более. Но ведь памфлетистом называл себя и Свифт — его литературный наставник.

Понадобился «Скотный Двор» (1945), чтобы, вспомнив свифтовскую «Сказку бочки», ясно опознали творческую генеалогию Оруэлла. А для того чтобы написать эту притчу, нужен был социальный и духовный опыт, заставивший очень серьезно задуматься над тем, что Оруэлл в молодости принимал почти как аксиому. Этот опыт копился, отлеживался в его сознании годами, не расшатав убеждений, которые Оруэлл считал для себя фундаментальными, однако скорректировав их очень заметно. Настолько заметно, что стало

соблазнительно, а внешне и логично говорить о «двух Оруэллах»: до перелома, обозначенного книгой «В честь Каталонии» (1940), и после.

Эти суждения — при желании их было легко перевести на язык политических ярлыков и обвинений в ренегатстве — чрезвычайно затруднили понимание смысла того, что написано Оруэллом, и урока, который таит в себе сама его судьба. У нас его имя десятки лет попросту не упоминалось, а уж если упоминалось, то с неизменными комментариями вполне определенного характера: антикоммунист, пасквильянт и т. п. На Западе отсылки к Оруэллу стали дежурными, когда предпринималась очередная попытка скомпрометировать идеи революции и переустройства мира на социалистических началах. Мифы, искажающие наследие Оруэлла до неузнаваемости, росли и по ту, и по эту сторону идеологических рубежей. Пробриться через эти мифы к истине об Оруэлле непросто.

Но сделать это необходимо — не только ради запоздалого торжества истины, а ради непредвзятого обсуждения волновавших Оруэлла проблем, которые и поныне актуальны донельзя. И начать надо с того, что, вопреки всем рассуждениям о переломе, вопреки кризису, действительно пережитому им в канун войны, он представлял собой удивительно цельную личность. Над ним никогда не имела власти политическая конъюнктура, он был не из тех, кто совершает замысловатые идейные маршруты, отдавшись переменчивым общественным ветрам.

Существовали слова, обладавшие для него смыслом безусловным и не подверженным никаким корректировкам, — слово «справедливость», например, или слово «социализм». Можно спорить с тем, как он толковал эти понятия, но не было случая, чтобы Оруэлл бестрепетно сжег то, чему вчера поклонялся, да еще, как водится, стал подыскивать себе оправдание в ссылаях на изменившуюся ситуацию, на относительность любых концепций, на невозможность абсолютов. Подобный релятивизм и Оруэлл — планеты несовместные.

Знавших его всегда поражали твердая последовательность мысли Оруэлла и присущее ему органичное неприятие недоговорок. В свое время из-за этого неумения прилаживаться ему пришлось оставить должность чиновника английской ко-

лониальной администрации в Бирме. Он уехал в колонии, едва закончив образование, и, по свидетельствам мемуаристов, явно выделялся среди сослуживцев в лучшую сторону. Но, исповедуя социалистические убеждения, нельзя было занимать пост в колониальной полиции. Так он чувствовал. И оставил службу, смутно представляя, что его ждет впереди.

В Париже, а затем в Лондоне он нищенствовал, перебивался случайно подвернувшейся работой продавца в книжной лавке, школьного учителя. Меж тем в кармане у него лежал диплом Итона, одного из самых привилегированных колледжей, открывавшего своим питомцам заманчивые перспективы.

Он так и остался неуживчивым, не в меру щепетильным человеком до самого конца. После Испании Оруэлл порвал с издателем, печатавшим все его прежние книги. Издатель, державшийся левых взглядов, потребовал убрать из фронтовых дневников Оруэлла записи о бесчинствах, происходивших в лагере Республики: зачем этого касаться, когда на пороге мировая война против фашизма? Однако напрасно было говорить Оруэллу, будто дело, за которое он дрался под Барселоной, выиграет от умолчаний и насилий над истиной. Эту логику он не признавал, как бы искусно ее ни обосновывали.

Испанская война стала для Оруэлла, как для всех прошедших через это испытание, кульминацией жизни и проверкой идей. Не каждый выдержал такую проверку: некоторые сломались, как Джон Дос Пассос, принявшийся каяться в былом радикализме, другие предпочли вспоминать те жестокие годы выборочно, чтобы не пострадал окружавший их романтический ореол. С Эриком Блэром получилось иначе. Из воевавших в Интербригаде писателей он был первым, кто сказал об этой войне вещи горькие, но правдивые: Республика потерпела поражение не только из-за военного превосходства франкистов, поддержанных Гитлером и Муссолини, — по крайней мере, не меньший урон нанесли делу Республики идейная нетерпимость и подозрительность, чистки и расправы над людьми, имевшими смелость отстаивать собственные политические мнения.

Столкнувшись со всем этим впервые, Оруэлл был потрясен настолько, что для него как-то потерялся высший исторический смысл испанских событий, ставших прологом ми-

ровой войны против фашизма. Этого нельзя не почувствовать во всем, что им написано об Испании. Но нельзя не понять и причин, предопределивших неизбежность именно такого взгляда на испанскую войну. Он пристрастно и несправедливо обвинял СССР в намерении предотвратить истинно народную революцию в Испании, он в этом даже солидаризировался с троцкистами, хотя обычно спорил с ними. Словом, он позволил увлечь себя эмоциям в ущерб точности взгляда и суждения.

В Испанию Оруэлл отправился, оттого что стоял на позициях демократического социализма. Позиции остались прежними, когда шесть месяцев спустя, в июне 1937-го, он, сумев избежать неминуемого ареста, вернулся домой долечивать горловое ранение.

Но в той формуле, которой Оруэлл всегда пользовался, определяя свое кредо — «демократический социализм», — переместились акценты. Ключевым теперь стало первое слово. Потому что в Испании Оруэлл впервые и с травмирующей наглядностью удостоверился, что возможен совсем иной социализм — по сталинской модели. И этот уродливый социализм, казнящий революцию во имя диктатуры вождей и подчиненной им бюрократии, с той поры сделался для Оруэлла главным врагом, чей облик он умел различать безошибочно, не обращая внимания на лозунги и на знамена.

Нужно хотя бы в самых общих чертах представить себе тогдашнюю духовную ситуацию на Западе, чтобы стало ясно, какой смелостью должен был обладать Оруэлл, отстаивая свои представления. Фактически он подвергал себя изоляции. Сетования на нее не раз прорываются в его письмах — вплоть до последних.

Было в Оруэлле нечто донкихотское, проявлявшееся в бескомпромиссности мнений, которая тогда для многих выглядела наивной. Оруэлл не желал считаться с резонами политической тактики. Оттого конфликты с окружающими завязывались у него на каждом шагу.

Он оказался неудобным собеседником, который заставляет додумывать до конца многое, о чем вообще не хотели думать, и бередит сознание, убаюканное успокоительными мифами или доверием к призывам — не так уж важно, каким именно. Сила Оруэлла как раз и была в том, что, презрев та-

кое неудобство, он упрямо заводил речь о явлениях, которых предпочитали как бы не замечать. Это же свойство сулило Оруэллу нелегкую судьбу оратора, которого никто не хочет выслушать с должным вниманием и тем более — сочувствием.

Консерваторов он не устраивал тем, что по-прежнему стойко верил в социалистическую идею, с нею одной связывая возможность гуманного будущего, когда исчезнут диктатуры, и колониальный гнет, и общественная несправедливость. Разумеется, его воззрения остались типичным «социализмом чувства», в теоретическом отношении слабым, а то и просто несостоятельным. Но в искренности и выношенности этих воззрений Оруэлл не дал повода усомниться никому.

Для либералов он был докучливым критиком и явным чужаком, поскольку не выносил их прекраснодушного пустословия. Очень характерна в этом отношении его полемика с Гербертом Уэллсом. Личность старого закала, Уэллс, подобно большинству своих единомышленников, не хотел осознать, насколько изменился мир в первые десятилетия XX века. Фашизм, политика геноцида, тоталитарное государство, массовая военная истерия — все это для него было лишь каким-то временным помрачением умов, неспособным, впрочем, серьезно воздействовать на законы прогресса, ведущего от вершины к вершине. Отдавая должное духовному влиянию Уэллса, в юности испытанному им самим, Оруэлл, однако, не мог принять этого олимпийского спокойствия перед лицом опасностей слишком реальных и слишком грозных. Контуры описанного в «1984» мира, где тоталитаризм всевластен, а человек без остатка подчинен безумной и лицемерной идеологии, открылись ему еще на исходе 30-х годов; близкое будущее подтвердило, насколько невымышленной была такая возможность. Потом, когда был напечатан «1984», либералы не могли ему простить, что местом действия избрана не какая-нибудь полуварварская восточная страна, а Лондон, ставший столицей Океании — одной из трех сверхдержав, ведущих бесконечные войны за переделку границ.

Но особенно яростно Оруэлл спорил с теми, кто почитал себя марксистами или, во всяком случае, левыми. Причем этот спор выходил за рамки частных, потому что предме-

том его были такие категории, как свобода, право, демократия, логика истории и ее уроки для следующих поколений. Главное расхождение между Оруэллом и его противниками из левого лагеря заключалось в истолковании диалектики революции и смысла ее последующих метаморфоз. Отношение к тому, что на Западе тогда было принято именовать «советским экспериментом», разделило Оруэлла и английских социалистов предвоенного да и послевоенного времени настолько принципиально, что ни о каком примирении не могло возникнуть и мысли.

Многое в этом споре, не утихавшем десять с лишним лет, следует объяснить временем, предопределившим и остроту полемики, и ее крайности с обеих сторон. Оруэлл никогда не был в СССР и должен был полагаться на чужие свидетельства, чаще всего пристрастные, да на собственный аналитический дар. Трагедию сталинизма он считал необратимой катастрофой Октября. Согласиться с этим нельзя и сегодня, когда мы представляем масштабы и последствия трагедии неизмеримо лучше, чем их представлял себе Оруэлл в конце 30-х годов. Исторические обобщения вообще не являлись сильной стороной его книг. И сами его представления о коммунизме, конечно, очень приблизительны, чтобы не сказать тенденциозны.

Коммунизм он отождествлял со сталинской диктатурой — вот откуда вся очевидная несправедливость его утверждений, будто целью большевиков изначально была та «военная деспотия», которая восторжествовала при Сталине. Вот откуда и другие прямолинейные, а то и просто ошибочные суждения Оруэлла. Он, например, писал, что в годы войны масса советских граждан стали предателями, но мы знаем, что это грубое искажение истины. Он был явно пристрастен к таким людям, как Эренбург, не понимая драмы, пережитой ими в сталинские годы.

Сила книг Оруэлла не в обобщениях, а в другом: в свободе от иллюзий, когда дело касается реального положения вещей, в отказе от казуистических оправданий того, чему оправдания быть не может, в способности назвать диктатуру Вождя — диктатурой (или, пользуясь излюбленным словом Оруэлла, тоталитаризмом), а совершенную сталинизмом расправу над революцией — расправой и надругательством, сколько бы ни трубили о торжестве революционного идеала.

Эту силу хорошо чувствовали антагонисты Оруэлла, оттого и предъявляя ему обвинения самые немислимые, вплоть до оплаченного пособничества реакции. Тягостно перечитывать теперь писавшееся об Оруэлле при его жизни английской левой критикой. Это не анализ, это кампания с целью уничтожения — вроде той, что выпало пережить Ахматовой и Зощенко (недаром Оруэлл комментировал отмененное теперь постановление 1946 года с такой пронциательностью: дал себя почувствовать свой собственный опыт).

Однако исторически подобная нетерпимость вполне объяснима. В левых кругах на Западе долгое время предосудительной, если не прямо преступной считалась сама попытка дискутировать о сути происходящего в Советском Союзе. Внедренная сталинизмом система была бездумно признана образцом социалистического жизнеустройства, а СССР воспринимали как форпост мировой революции. Из западного далека не смущали ни ужасы коллективизации с ее миллионами спецпереселенцев и умирающих от голода, ни внесудебные приговоры политическим противникам Вождя или только лишь заподозренным в недостаточной преданности и слишком сдержанном энтузиазме.

Всему этому тут же находилось стройное объяснение в якобы обостряющейся классовой борьбе и злодейских замыслах империализма, в закономерностях исторического процесса, проклятому наследии российского прошлого, косности мужицкой психологии — в чем угодно, только не в природе сталинизма. За редчайшим исключением левые западные интеллектуалы либо не увидели, что сталинизм есть преступление против революции и собственного народа, либо, увидев, молчали, полагая, будто к молчанию обязывает их верность заветам Октября и атмосфера неуклонно приближавшейся схватки с фашистской Германией.

Советско-германский пакт 1939 года основательно пошатнул эту безусловную — «вопреки всему» — веру в СССР, как и подобное понимание идейного долга, и лишь после этого Оруэлл смог напечатать «В честь Каталонии», а затем несколько эссе, имеющих для него характер манифеста. Возвращаясь к ним в наши дни, нельзя не оценить главного: суть сталинской системы как авторитарного режима, который и в целом, и в любых частностях враждебен идее демократии, понята Оруэллом с точностью, для того времени

уникальной. С Оруэллом не только можно, а часто и необходимо спорить, когда он доказывает неизбежность именно такого развития российской государственности после 1917 года, настаивая, что альтернативы не существовало. Беспристрастное и внимательное чтение последних ленинских работ, возможно, сумело бы его убедить, что на самом деле альтернатива была, как была преуказана в этих работах и опасность перерождения советской республики в термидорианскую структуру, к несчастью, ставшую реальностью. Оруэлл, видимо, весьма поверхностно был знаком с наследием Ленина и вообще с марксистской классикой, зная лишь усеченного, перетолкованного, превратившегося в цитатник на нужные случаи Ленина, который был разрешен в 30-е и 40-е годы. Этот изъян социалистического образования, самодеятельно приобретенного Оруэллом, сказался в его статьях, как скажется он затем и в знаменитой антиутопии «1984».

Однако хотя бы отчасти он компенсировался увиденным в Испании и той недогматичностью мышления, которую Оруэлл годами воспитывал в себе, справедливо полагая ее первым условием настоящей духовной свободы. У него был острый глаз и точный слух. С юности в нем пробудился тот многожды осмеянный здравый смысл, который оказывался по-своему незаменимым средством, чтобы распознать горькие истины за всеми теориями, построенными на неосведомленности или на лжи «во спасение», за всей патетикой, кабинетной ученостью и неискушенной романтикой, в совокупности создававшими образ светлых московских просторов, не имевший и отдаленного сходства с действительностью сталинского времени.

Тот образ, который возникает у Оруэлла, нелестен, подчас даже жесток, однако у него есть достоинство наиважнейшее — он достоверен.

Поэтому, читая эссеистику Оруэлла, как и его притчи, мы столь многое узнаем из своего же не столь далекого во времени опыта. При этом вовсе не обязательно, чтобы Оруэлл касался этого опыта впрямую, откликаясь ли на процессы 1937 года или размышляя над судьбами ошельмованных советских писателей. Пожалуй, даже поучительнее те его соображения, которые затрагивают самое существо казарменно-бюрократических режимов, какими они явились

в XX столетии, по обилию их и по устойчивости далеко обогнавшем все предыдущие.

Едва ли не первым на Западе Оруэлл понял, что это социальное устройство совершенно особого типа, притягательное на долговременность, если не на вековечность, и уж во всяком случае, вовсе не являющееся каким-то мимолетным злым капризом истории. Тут важно помнить, что он писал, сам находясь в потоке тогдашних событий, а не с той созданной временем дистанции, которая помогает нам теперь разобраться в причинах и следствиях «великого перелома», оплаченного столькими трагическими потерями, столькими драмами, перенесенными нашим обществом. Свидетельства современника обладают незаменимым преимуществом живой и непосредственной реакции, однако нельзя от них требовать исторической фундаментальности. Тем существеннее, что сегодня, осмысляя феномен сталинизма, мы отмечаем как наиболее для него характерное немало из того, что было замечено и осмыслено Оруэллом.

Мы говорим сегодня о насильственном единомыслии, ставшем знаком сталинской эпохи, об атмосфере страха, ей сопутствовавшей, о приспособленчестве и беспринципности, которые, пустив в этой атмосфере буйные побеги, заставляли объявлять кромешно черным то, что еще вчера почиталось незамутненно белым. О беззаконии, накаленной подозрительности, подавлении всякого неказенного чувства и всякой независимой мысли. О кичливой парадности, за которой скрывались экономический авантюризм и непростительные просчеты в политике. О стремлениях чуть не буквально превратить человека в винтик, лишив его каких бы то ни было понятий свободы. Но ведь обо всем этом, или почти обо всем, Оруэлл говорил еще десятилетия назад — и отнюдь не со злорадством реакционера, напротив, с болью за подобное перерождение революции, мыслившейся как начало социализма, построенного на демократии и гуманности. С опасением, что схожая перспектива ожидает все цивилизованное человечество.

Теперь легко утверждать, что тревоги Оруэлла оказались презремыми и что советское общество, вопреки его мрачным предсказаниям, сумело, пусть ценой страшных утрат, преодолеть дух сталинизма, преодолевая и его наследие. Да, Оруэлл, как выяснилось, был не таким уж блистательным

провидцем, а как аналитик порой оказывался не в ладу с реальностью. Надо ли доказывать, что отнюдь не страх интеллектуалов перед действительной свободой был первопричиной появления режимов, названных у Оруэлла «тоталитарной диктатурой», что здесь вступали в дело силы намного более масштабные и грозные? Надо ли разъяснять, что и в «Скотном Дворе», если видеть в нем, как принято, сатирическую историю советского общества межвоенных лет, есть несомненные натяжки, хотя бы финальная сцена, где изображена пирующая элита, которая даже в привычках ничем не отличается от прежних угнетателей?

Впрочем, со «Скотным Двором» дело обстоит не так просто. Очень многое в этой повести для нас узнаваемо: вряд ли, например, кто-то усомнится, какие исторические прототипы стоят за фигурами Обвала и Наполеона, попыхивающего трубкой в своем царственном уединении, вряд ли нуждается в комментариях весь сюжет их отношений или история двух вооруженных посягательств на суверенитет фермы, управляемой самими животными. Фабульная канва, безусловно, позаимствована Оруэллом из советской хроники между 1917 и 1945 годом. Оттуда же позаимствованы основные типажи, насколько можно о них говорить, учитывая, что перед нами притча или сказка, с неизбежной обобщенностью действующих лиц.

Однако содержание этого произведения все-таки не исчерпывается только парафразом первых десятилетий советской истории. Ведь и само понятие «тоталитарной диктатуры» для Оруэлла не было синонимом только сталинизма, хотя он считал, что сталинский режим воплощает ее по-своему образцово. Тем не менее Оруэлл видел тут явление, способное прорасти и в обстоятельствах, далеко не специфичных для России, как проросло оно, приняв иную и зловещую форму, в гитлеровской Германии, в Испании, раздавленной франкизмом, или в латиноамериканских банановых республиках под властью «патриархов». Когда через несколько лет Оруэлл изобразил в качестве тоталитарного общества Англию, британские патриоты возмущались, однако для писателя этот художественный ход был естественным, если вспомнить, с какой настойчивостью говорил он об угрозе тоталитаризма и о непрочности либеральных институтов в своих эссе еще до войны и после нее.

Обо всем этом не стоит забывать, читая «Скотный Двор». Описываемая Оруэллом модель диктатуры, возникающей на излете преданной и проданной революции, объективно важнее любых опознаваемых параллелей, которые встретятся в этой повести.

За те сорок с лишним лет, что прошли со дня ее появления, эту модель можно было не раз и не два наблюдать в действии под разными небесами, причем все повторялось почти без вариаций. Повторялся первоначальный всеобщий подъем, на смену которому медленно приходило ощущение великого обмана. Повторялась борьба за власть, когда звонкие слова таили за собой всего лишь игру далеко не бескорыстных амбиций, а решающим аргументом становились кулак и карательный аппарат. Повторялась механика вождизма, возносившая на монбланы власти все новых и новых наполеонов. И у демагогов вроде Стукача оказалось поистине неисчислимое потомство. И прекрасные заповеди бесконечно корректировали, пока не превращали их в пародию над смыслом. И толпы все так же скандировали слова-фетиши, не желая замечать, что осталась только шелуха от этих призывов, некогда способных вдохновить на подвиг.

Написанный под самый конец войны, «Скотный Двор» теперь читается как одна из книг, немало предвосхитивших уже в послевоенном социальном опыте, хотя это, конечно, не было целью Оруэлла.

Его целью было развенчание сталинизма, тогда — из-за незнания, из-за иллюзий, из-за приписанных гению Вождя побед в Великой Отечественной — обладавшего особенной притягательностью для многих и многих на Западе. В 1947 году, предваряя издание книги в переводе на украинский язык, Оруэлл писал: «Ничто так не способствовало искажению исходных социалистических идей, как вера, будто нынешняя Россия есть образец социализма, а поэтому любую акцию ее правителей следует воспринимать как должное, если не как пример для подражания. Вот отчего последние десять лет я убежден, что необходимо развеять миф о Советском Союзе, коль скоро мы стремимся возродить социалистическое движение».

Говоря о Советском Союзе, Оруэлл, разумеется, судил не страну, а сталинскую систему. Миф о ней не до конца раз-

веян и сегодня. Книги Оруэлла помогут этой задаче. Думается, это обстоятельство решающее, когда мы определяем свое отношение к непростой фигуре их автора. Отдавая дань его пронизательности и честности, мы нередко спорим с ним, но не как с тенденциозным противником, а как с умным собеседником, хотя он подчас неудобен и для нас тоже.

А. Зверев

Скотный Двор

Сказка

Глава I

Мистер Джонс, хозяин Господского Двора, запер на ночь курятник, но про лазы для молодняка спьяну забыл. Фонарь в его руке ходил ходуном, круг света метался из стороны в сторону, когда он, выписывая вензеля, прошел к черному ходу, скинул сапоги, нацедил в кладовке свою последнюю в этот день кружку пива из бочки и залез в кровать, где уже задавала храпака миссис Джонс.

Едва в спальне погас свет, во всех службах послышались шорох и шуршанье. Днем прошел слух, что старику Главарю, призовому хряку средней белой породы, прошлой ночью приснился удивительный сон, и он хочет рассказать о нем животным. Договорились, как только мистер Джонс уберется восвояси, собраться в большом амбаре. Старика Главаря (его всегда называли так, хотя выставлялся он под кличкой Краса Уиллингдона) на ферме почитали, и все охотно согласились недоспать час, лишь бы послушать его.

В глубине амбара на чем-то вроде помоста под свисающим с матицы фонарем раскинулся на охапке соломы Главарь. Ему стукнуло двенадцать, и хотя за последние годы он огрузнел, но был по-прежнему величав, мудрого и благожелательного облика этой свиньи не портили даже неподпиленные клыки. Вскоре начали стекаться другие животные, они долго возились, стараясь расположиться — каждое на свой лад — поудобнее.

Первыми прибежали три собаки: Ромашка, Роза и Кусай, за ними притрусили свиньи — эти разлеглись перед помостом на соломе. Куры взгромоздились на подоконники, голуби вспорхнули на стропила, овцы и коровы поместились позади свиней и принялись за свою жвачку. Боец и Кашка, пара ломовых лошадей, пришли вместе, они неторопливо пробирались к помосту, долго искали, куда бы ступить, чтобы невзначай не раздавить копытом с косматой щеткой

снующую в соломе мелюзгу. Кашка была деbeatая сердобольная кобыла не первой молодости, сильно отяжелевшая после четвертого жеребенка. Боец, могучий коняга чуть не двухметрового роста, силой превосходил двух обычных коней, вместе взятых. Из-за белой отметины на храпу он казался глуповатым, да и впрямь умом не блистал, но его почитали за стойкость и неслыханное трудолюбие. Вслед за лошадьми прискакали белая коза Мона и ослик Вениамин. Вениамин был старше всех на ферме годами и хуже всех нравом. Он больше помалкивал и молчание нарушал, только чтобы отпустить какое-нибудь циничное замечание — к примеру, заявлял, что господь Бог дал ему хвост, чтобы отгонять мух, но он лично обошелся бы без хвоста и без мух. Он один из всей скотины на ферме никогда не смеялся. И если у него допытывались почему, он отрезал: не вижу, мол, повода. При всем при том он был предан Бойцу, хотя никак этого не выказывал, и по воскресеньям они обычно паслись бок о бок в загончике за садом, щипали траву, но разговаривать не разговаривали.

Едва лошади улеглись, как в сарай гуськом прошествовал выводок отбившихся от матери-утки утят, они слабо попискивали и шныряли из стороны в сторону, выискивая местечко, где бы на них не наступили. Кашка огородила их передней ногой, они отлично устроились за ней и тут же заснули. В последнюю минуту, жеманно семеня и хрупая куском сахара, явилась серая кобылка Молли, хорошенкая дурочка, возившая дрожки мистера Джонса. Она расположилась поближе к помосту и тут же принялась потряхивать гривой — ей не терпелось похвастаться вплетенными в нее красными лентами. Последней пришла кошка, огляделась по сторонам, привычно выбирая местечко потеплее, в конце концов втиснулась между Бойцом и Кашкой и блаженно замурлыкала — речь Главаря от начала до конца она пропустила мимо ушей.

Теперь в амбар сошлись все, за исключением ручного ворона Моисея — он дремал на шестке у черного хода. Когда Главарь убедился, что животные удобно поместились и настроились слушать, он откашлялся и начал свою речь:

— Товарищи! Как вам известно, минувшей ночью мне приснился удивительный сон. Но я перейду к нему попозже. Сначала я хочу с вами поговорить о совсем других вещах.

Я думаю, товарищи, что вскоре я вас покину, поэтому считаю своим долгом перед смертью поделиться с вами накопленной мудростью. Я прожил долгую жизнь, пока лежал один в своем закуте, многое успел обдумать и, по моему, с полным правом могу сказать, что понимаю, как устроена жизнь на земле, не хуже любого другого животного из ныне здравствующих. Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить.

Так вот, товарищи, как устроена наша жизнь? Давайте смотреть правде в глаза. Нищета, непосильный труд, безвременная смерть — вот наш удел. Мы появляемся на свет, мы получаем ровно столько корма, чтобы не умереть с голода, а рабочий скот еще и изнуряют работой, пока не выжмут из него все соки, когда же мы больше ни на что не годны, нас убивают с чудовищной жестокостью. Нет такого животного в Англии, которое не распростилось бы с досугом и радостью жизни, едва ему стукнет год. Нет такого животного в Англии, которое не было бы закабалено. Нищета и рабство — вот что такое жизнь животных, и от этого нам никуда не уйти.

Но разве таков закон природы? Но разве страна наша так бедна, что не может прокормить тех, кто в ней живет? Нет, товарищи, нет, нет и еще раз нет. Земля Англии обильна, климат ее благодатен, и кроме нас она способна прокормить досыта еще многих и многих. Одна наша ферма могла бы содержать дюжину лошадей, два десятка коров, сотни овец, и все они жили бы привольно и достойно, так, как нам и не снилось. Почему же тогда мы влачим это жалкое существование? Да потому, что плоды нашего труда присваивают люди. Вот в чем причина всех наших бед. Если определить ее коротко — она в человеке. Человек — вот кто наш истинный враг. Если мы уберем человека, мы навеки покончим с голодом и непосильным трудом, ибо человек — их причина.

Из всех живых существ один человек потребляет, но ничего не производит. Он не дает молока, не несет яиц, его нельзя запрячь в плуг, потому что он слишком слаб, ему не поймать кролика, потому что он не умеет быстро бегать. Все так, и тем не менее он властвует над нами. Он заставляет нас работать на себя, забирает плоды наших трудов, нас же самих кормит впроголодь. Нашим трудом

обрабатывается земля, нашим навозом она удобряется, а что у нас есть? — ничего, кроме своей шкуры. Вот вы, коровы, сколько литров молока вы дали за последний год? И куда пошло это молоко, которым вы могли бы напоить крепких телят? Его все, до последней капли, выпили наши враги. Вот вы, куры, сколько яиц вы снесли за этот год и из скольких яиц вылупились цыплята? Куда же пошли остальные? Их продали на рынке Джонс и его работники, чтобы выручить деньги для себя. Вот ты, Кашка, где твои жеребята, четверо жеребят, твоя надежда и опора в старости? Их продали одного за другим, едва им стукнул год, и ты никогда больше их не увидишь. Тяжело они тебе достались, тяжело ты работала в поле, и что же ты получила взамен — скудный паек, место в деннике и больше ничего!

Но даже это жалкое существование обрывают до времени. Мне грех жаловаться, мне повезло. Мне пошел тринадцатый год, четыреста поросят родились от меня. Так природа определила жить хряку. Но нет такого животного, которого в конце жизни не настиг бы беспощадный нож. Вот вы, подсвинки, не пройдет и года, и вы все до одного, отчаянно вереща, проститесь с жизнью на колоде. Всех вас — коров, свиней, кур, овец, всех-всех ждет этот страшный конец. Даже лошадей, даже собак и тех он не минует. Вот ты, Боец, в тот самый день, когда и тебя, такого могучего, покинут силы, Джонс сбудет тебя живодеру, и тот перережет тебе горло и пустит на корм гончим. Собакам же, когда состарятся и обеззубеют, Джонс привяжет кирпич на шею и утопит в ближайшем пруду.

Неужели вам еще не ясно, товарищи, что причина наших бед — гнет людей? Если скинуть человека, никто не будет присваивать плоды нашего труда. Назавтра же мы освободимся от нищеты и бесправия. Итак, что делать? Работать день и ночь, не щадя сил, и свергнуть людское иго! Восстание, товарищи! — вот вам мой завет. Я не знаю, когда разразится восстание — через неделю или через сто лет, но я уверен, точно так же как уверен в том, что стою на соломе, рано или поздно справедливость восторжествует. Всю свою, хоть и недолгую, жизнь положите, чтобы приблизить ее! А главное — донесите мой завет до тех, кто придет вам на смену, и пусть грядущие поколения доведут борьбу до победного конца.

И главное, товарищи, будьте стойкими. Не дайте увлечь себя с пути борьбы никакими доводами. Не слушайте, если вам будут говорить, что у человека и скотины общие цели, что их процветание неразрывно связано. Все это вражеские происки. Человек преследует свои и только свои интересы. И да будет наше единство в борьбе, наше товарищество нерушимо! Все люди — враги. Все животные — товарищи.

Тут поднялась страшная кутерьма. Четыре здоровенные крысы — речь Главаря выманила их из нор, — усевшись на задние лапки, внимали ему. Но дослушать речь до конца им не удалось — они попались на глаза собакам, и, не юркнув они в норки, не сносить бы им головы. Главарь поднял ножку, призывая к молчанию.

— Товарищи, — сказал он, — есть один пункт, который следует уточнить. Дикие твари: крысы или, скажем, кролики, — друзья они или враги? Давайте проголосуем: кто за то, что крысы нам друзья?

Тут же состоялось голосование, подавляющим большинством голосов постановили считать крыс товарищами. Против голосовало всего четверо: три собаки и кошка, правда, потом обнаружилось, что она голосовала и за и против. А Главарь продолжал:

— Моя речь близится к концу. Хочу только повторить: никогда не забывайте, что ваш долг — бороться с человеком и всем, что от него исходит. Всякий, у кого две ноги, — враг. Всякий, у кого четыре ноги, равно как и тот, у кого крылья, — друг. Помните также: в борьбе против человека не уподобляйтесь ему. Даже победив его, не перенимайте его пороков. Не живите в домах, не спите на кроватях, не носите одежды, не пейте спиртного, не курите, не занимайтесь торговлей, не берите в руки денег. Все людские обычаи пагубны. А главное — ни одно животное не должно угнетать другого. Слабые и сильные, хитроумные и недалекие — все мы братья. Ни одно животное не должно убивать другого. Все животные равны.

А теперь, товарищи, я расскажу вам о том, что за сон приснился мне прошлой ночью. Описать его вам я не берусь. Мне снилось, какой станет наша земля, когда человек исчезнет с ее лица. Сон этот воскресил в моей памяти одно воспоминание. Давным-давно, когда я был еще поросенком, моя мать вместе с другими свиньями певала одну старинную

песню; помнили они из нее лишь мотив и первые три слова. В детстве я знал этот мотив, но он уже давно выветрился из моей памяти. А прошлой ночью во сне я его вспомнил, мало того, я вспомнил и слова этой песни, слова, которые, я уверен, пела скотина в незапамятные времена, но потом они были забыты, и вот уже несколько поколений их не знают. А сейчас, товарищи, я спою вам эту песню. Я стар, голос у меня сиплый, но я хочу обучить вас ей, а уж вы будете петь ее как следует. Называется она «Твари Англии».

Старый Главарь откашлялся и запел. Голос у него, и верно, был сиплый, но пел он неплохо. И мотив, помесь «Клементины» и «Кукарачи», брал за сердце. Вот эта песня:

Твари Англии и твари
Всех земель, какие есть,
О земном грядущем рае
Принимайте, твари, весть!

Твари, будете счастливы,
Будет свергнут человек,
Будут все луга и нивы
Тварям отданы навек.

Мы кольцо из носа вынем —
Наша все-таки взяла!
Кнут сломаем, упряжь скинем,
Заржавеют удила!

Может, ждать придется долго,
Но пшеница и ячмень,
Сено, и бобы, и свекла —
Будут наши в этот день!

Станут чище наши воды,
Станет ярче всходов цвет,
Слаще воздуха свободы
Ничего для твари нет.

До свободы путь-дорога
Далека — не все дойдут;
Гуси, лошади, коровы,
Отдадим свободе труд.

Твари Англии и твари
Всех земель, какие есть,
О земном грядущем рае
Принимайте, твари, весты!*

Животные пришли в неистовое возбуждение — так потрясла их эта песня. Не успел Главварь допеть песню до конца, как они тут же подхватили ее. Даже самые тупые усвоили мотив и кое-какие слова, но самые из них умные, то есть свиньи и собаки, через несколько минут знали песню наизусть от первого до последнего слова. И, прорепетировав раз-другой, вся ферма как один дружно грянула «Твари Англии». Каждый пел на свой лад: коровы мычали, собаки лаяли, овцы блеяли, лошади ржали, утки кричали. Песня так легла животным на сердце, что они пропели ее пять раз кряду и, наверное, пели бы всю ночь напролет, если бы их не прервали.

На беду, шум разбудил мистера Джонса — он вскочил с постели, решив, что во двор прокралась лисица. Схватил ружье, которое держал на всякий случай в углу, и выстрелил дробью в воздух. Дробины врезались в стену амбара, и собрание мигом расточилось. Все разбежались по своим местам. Куры взобрались на насесты, животные улеглись на солому, и вскоре вся ферма погрузилась в крепкий сон.

Глава II

А через три дня старый Главварь мирно отошел во сне. Его похоронили в дальнем конце сада.

Он умер в начале марта. В следующие три месяца животные всю развернули подпольную работу. У тех, кто поумнее, речь Главваря произвела полный переворот во взглядах. Они не знали, когда сбудется предсказание Главваря, не надеялись, что восстание совершится при их жизни, но твердо знали, что их долг — подготовить его. Задачу обучить и организовать животных возложили, конечно же, на свиней. Среди животных они слыли самыми умными. Среди них резко выделялись два молодых хряка, Обвал

* Здесь и далее по тексту «Скотного Двора» перевод стихов В. Корнилова.
(Здесь и далее — примечания, кроме отмеченных особо, переводчиков.)

и Наполеон, которых мистер Джонс откармливал на продажу. Наполеон, крупный, свирепого вида беркширский хряк, единственный на ферме беркшир, был немногословен, зато отличался невероятным упорством в достижении цели. Обвал был более живого нрава и куда более речистый и находчивый, но, по общему мнению, уступал Наполеону в силе характера. Кроме них, хряков на ферме не держали, одних подсвинков. Из них самым приметным был жирный подсвинок по имени Стукач, кругломордый, юркий, с бегающими глазками и визгливым голосом. Оратор он был, каких мало: когда ему требовалось доказать что-нибудь труднодоказуемое, у него была манера вертеться вьюном, крутить хвостиком, и это почему-то убеждало. О Стукаче говорили, что ему ничего не стоит выдать черное за белое.

Вот эти-то трое и развили учение старого Главаря в стройную философскую систему и назвали ее «скотизмом». Чуть не каждую ночь, когда мистер Джонс засыпал, они тайно сходились в амбаре и разъясняли основные положения скотизма остальной скотине. Невозможно передать, с какой тупостью и равнодушием они столкнулись на первых порах. Кое-кто говорил, что они обязаны хранить верность мистеру Джонсу, и называл его не иначе как хозяин, а то и допускал незрелые высказывания такого рода: «Мистер Джонс нас кормит. Без него мы подохнем с голоду». Кое-кто задавал вопросы другого рода: «Какое нам дело, что станется после нашей смерти?» или «Если восстание все равно произойдет, какая разница, будем мы на него работать или нет?» Свиньи потратили немало труда, пока убедили, что подобные высказывания несовместимы с духом скотизма. Но самые глупые вопросы задавала Молли, серая кобылка. Ее первый же вопрос Обвалу был: «А после восстания сахар у нас будет?»

— Не будет,— отрезал Обвал.— Мы не можем производить сахар. И вообще, зачем тебе сахар? Ты получаешь вдвоель овса и сена.

— А ленты в гриве можно будет носить? — спросила Молли.

— Товарищ,— сказал Обвал,— эти ленты, которые тебе так любы, символ рабства, вот что они такое. Разве свобода не дороже лент?

Молли согласилась, но без особой уверенности.

А вот опровергнуть выдумки, которые распускал ручной ворон Моисей, свиньям оказалось еще труднее. Моисей, любимец мистера Джонса, был ябедник и наушник, зато умел заговаривать зубы. Он уверял, что есть некий таинственный край, где текут молочные реки с кисельными берегами, — туда после смерти отправятся все животные. Край этот, говорил Моисей, на небе, прямо за облаками. Там всю неделю, что ни день, воскресенье, круглый год не переводится клевер, а кусковой сахар и льняной жмых растут прямо на изгородях. Животные терпеть не могли Моисея: он плел небылицы и целый день бездельничал, но некоторые верили в молочные реки и кисельные берега, и свиньям стоило невероятных трудов убедить их, что такого края нет и в помине.

Самыми преданными последователями свиней оказались ломовые лошади — Боец и Кашка. Они ничего не могли придумать самостоятельно, но, раз и навсегда признав свиней своими учителями, буквально впитывали каждое их слово и доходчиво передавали другим животным. Они не пропускали ни одного подпольного собрания в амбаре и первыми запевали «Твари Англии», которыми неизменно завершались собрания.

Восстание осуществилось и раньше, и легче, чем они ожидали. Мистера Джонса, хозяина хоть и крутого, но умелого, в последние годы преследовала неудача за неудачей. Он потерял много денег в тяжбе, пал духом, пристрастился к выпивке. И целые дни напролет просиживал в кресле на кухне, читал газеты, потягивал пиво и подкармливал Моисея размоченными в пиве корками. Работники у него обленились, поворовывали, поля заросли сорняками, крыши прохудились, изгороди покосились, скотину недокармливали.

Наступил июнь — пора сенокоса. В канун Иванова дня — он пришелся на субботу — мистер Джонс уехал в Уиллингдон и так нагрузился в «Красном Льве», что вернулся только к обеду в воскресенье. Работники с утра пораньше подоили коров и отправились охотиться на зайцев, а задать корму животным и не подумали. Сам мистер Джонс по возвращении задремал на диване в гостиной, прикрыв лицо «Ньюс оф уорлд»; и вот и вечер наступил, а животным так никто и не задал корму. Наконец их терпение лопнуло. Одна корова выбила рогами дверь житницы, животные

кинулись к сусекам и — давай хватать зерно. Тут они и разбудили мистера Джонса. Минуты не прошло, а он вместе с четырьмя работниками ворвался в житницу, и по спинам животных загуляли кнуты. Такого оголодавшие животные не могли снести. И, не сговариваясь, все как один ринулись на своих угнетателей. На Джонса и работников со всех сторон посыпались пинки и удары. Животные вышли из повиновения. Ничего подобного люди никогда не видели, и этот неожиданный бунт тех самых животных, которых они как только не притесняли и не колотили, перепугал их до потери сознания. Они попробовали было отбиваться, но через минуту-другую пустились наутек. И вот уже все пятеро опрометью мчались по проселочной дороге к большаку, а скотина, торжествуя, гналась за ними следом.

Миссис Джонс выглянула в окно, увидела, что творится, побросала кое-какие вещички в саквояж и задами убежала с фермы. Моисей соскочил с шестка и, громко каркая, пошлепал за ней. Тем временем животные выгнали Джонса с работниками на дорогу и захлопнули за ними тесовые ворота. Они еще не успели понять, что произошло, а восстание уже свершилось, Джонс был изгнан, и Господский Двор отошел к ним.

Поначалу они не поверили своему счастью. И перво-наперво в полном составе галопом обскакали все межи — уж очень им хотелось удостовериться, что на ферме не осталось и следа людей; потом помчались назад к службам — уничтожить следы ненавистного владычества Джонса. Разнесли сбруйницу, пристроенную к торцу конюшни; мундштуки, трензеля, собачьи цепи, страшные ножи, которыми мистер Джонс легчил поросят и ягнят, побросали в колодец. Вожжи, недоуздки, шоры, гнусные торбы швырнули на груды тлеющего во дворе мусора. Туда же полетели и кнуты. Когда кнуты занялись огнем, животные запрыгали от радости. Обвал отправил в огонь и ленты, которые вплетали лошадям в гривы и хвосты по базарным дням.

— Ленты,— объявил он,— приравниваются к одежде, а одежда — один из признаков человека. Все животные должны ходить голыми.

Слова его произвели такое впечатление на Бойца, что он принес соломенную шляпу, которая летом спасала его от назойливых мух, и тоже швырнул в костер.

Вскоре было уничтожено все, что напоминало о мистере Джонсе. После чего Наполеон повел животных в житницу и выдал каждому по двойной пайке зерна, а собакам — по две галеты. Потом они спели «Твари Англии» от начала до конца семь раз кряду, улеглись спать, и никогда в жизни им так хорошо не спалось.

Проснулись они по привычке на заре, сразу вспомнили, какие замечательные перемены произошли в их жизни, и дружно рванули на выгон. Чуть подалее на выгоне вздымался взгорок, с которого была видна как на ладони чуть не вся ферма. Животные взобрались на него и при ярком утреннем свете огляделись вокруг. Да, все здесь, куда ни кинь взгляд, отошло к ним! Как тут не восхититься, как не разгорячиться, и уж они резвились, уж они бесились! И катались по росе, и ели до отвала сладкую летнюю траву, и подкидывали в воздух комья черной земли, и вдыхали ее сытный запах. Они дотошно осмотрели всю ферму; онемев от восторга, глядели они на пашни, луга, сад, пруд, рощицу, смотрели так, словно видели их впервые, и не могли поверить, что ферма отошла к ним.

Потом гуськом двинулись на подворье и в молчании остановились перед хозяйским домом. И хотя дом тоже отошел к ним, войти в него они робели. Но Обвал и Наполеон быстро поборол нерешительность, навалились на дверь, взломали ее, и животные по одному, осторожно ступая из опасения как бы чего не повредить, потянулись в дом. На цыпочках переходили они из комнаты в комнату, говорили приглушенными голосами, с трепетом взирали на неслыханную роскошь — кровати с перинами, зеркала, диван конского волоса, плюшевый ковер, литографию королевы Виктории над камином в гостиной. Уже спускаясь с крыльца, они хватились Молли. Возвратившись, они обнаружили ее в парадной спальне. Прижимая к плечу позаимствованную с туалетного столика миссис Джонс голубую ленту, она преглупо гладела на себя в зеркало. Ее выбрали и увели из дому. Подвешенные к потолку кухни окорока решили предать земле, найденную в кладовке бочку пива Боец пробил копытом, а так больше ничего в доме не тронули. Не сходя с места, единогласно приняли резолюцию — считать хозяйский дом музеем. Все согласились, что никому из животных не подобает в нем жить.

Животные отправились завтракать, после чего Обвал и Наполеон снова созвали их.

— Товарищи,— сказал Наполеон.— Сейчас седьмой час, у нас впереди целый день. Сегодня мы начнем косовицу, но у нас есть еще одно дело, и им мы должны заняться в первую очередь.

И тут-то свиньи открыли им, что за последние три месяца они научились считать и писать по найденным на помойке старым прописям, по которым когда-то учились дети мистера Джонса. Наполеон распорядился принести по банке черной и белой краски и повел их к тесовым воротам, выходящим на большак. Там Обвал (он оказался самым способным к письму) зажал кисть ножкой, замазал надпись «Господский Двор» на верхней тесине ворот и вывел «Скотный Двор». Отныне и навсегда ферма будет именоваться так. После чего они вернулись на подворье, а там Обвал и Наполеон распорядились принести стремянку и велели приставить ее к торцу большого амбара. Они объяснили, что путем упорных трудов свиньям удалось за последних три месяца свести положения скотизма к семи заповедям. Теперь эти семь заповедей будут начертаны на стене и станут нерушимым законом, которым отныне и навеки будут руководствоваться животные Скотного Двора. Не без труда (свинье ведь нелегко удержаться на лестнице) Обвал вскарабкался наверх и принялся за работу, а Стукач — он стоял чуть ниже — держал банку с краской. Заповеди начертали на осмоленной стене крупными белыми буквами — их было видно метров за тридцать. Вот они:

Семь заповедей

1. Тот, кто ходит на двух ногах,— враг.
2. Тот, кто ходит на четырех (равно как и тот, у кого крылья),— друг.
3. Животное да не носит одежду.
4. Животное да не спит в кровати.
5. Животное да не пьет спиртного.
6. Животное да не убьет другое животное.
7. Все животные равны.

Буквы были выведены ровно и, если не считать, что в слове «четырёх» вместо первого «е» стояло «и», а в слове «спит» «с» перевернулось не в ту сторону, все было исключительно грамотно. Обвал прочел заповеди вслух для общего сведе-

ния. Животные согласно кивали головами, а те, кто поумнее, стали не мешкая заучивать заповеди наизусть.

— А теперь за работу, товарищи,— сказал Обвал, отбрасывая кисть.— Для нас должно стать делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его работники.

Но тут три коровы — они давно маялись — громко замычали. Их уже сутки не доили, и вымя у них только что не лопалось. Свины подумали-подумали, распорядились принести подойники и вполне сносно подоили коров — и для этого их ножки сгодились. И вот в пяти подойниках пенилось жирное молоко, и многие поглядывали на него с нескрываемым любопытством.

— Куда мы денем такую пропасть молока? — раздался вопрос.

— Джонс, бывало, подмешивал молоко нам в корм,— сказала одна курица.

— Товарищи, не забивайте себе голову этим молоком,— прикрикнул Наполеон и заслонил своей тушей подойники.— Им займутся. Урожай — вот наша первоочередная задача. Товарищ Обвал поведет нас. Через несколько минут приду и я. Вперед, товарищи! Урожай не ждет.

И животные повалили в поле косить, а вечером было замечено, что молоко исчезло.

Глава III

Они работали без устали, до седьмого пота, только бы убрать сено! Труды их не пропали даром, урожай выдался на славу, они и не надеялись собрать такой.

Порой они отчаивались, потому что коса, грабли — они ведь не для животных, для людей приспособлены: ни одному животному с ними не управиться, тут требуется стоять на задних ногах. Но свины — вот ведь умные! — из любого положения находили выход. Ну а лошади, те знали поле досконально, а уж косили и сгребали в валки так, как и не снилось Джонсу и его работникам. Сами свины в поле не работали, они взяли на себя общее руководство и надзор. Да иначе и быть не могло, при их-то учености. Боец и Кашка впрягались в косилку, а то и в конные грабли (им, конечно, не требовалось ни удил, ни уздечек) и упорно ходили круг за кругом

по полю, а кто-нибудь из свиней шел сзади и покрикивал, когда «А ну, товарищ, наддай!», а когда «А ну, товарищ, осадь назад!» А уж ворошили и копнили сено буквально все животные от мала до велика. Утки и куры и те весь день носились взад-вперед, по клочкам перетаскивая сено в клювах. Завершили уборку досрочно. Джонс с работниками наверняка провозился бы по меньшей мере еще два дня. Не говоря уж о том, что такого урожая на ферме сроду не видывали, вдобавок убрали его без потерь: куры и утки — они же зоркие — унесли с поля все до последней былинки. И никто ни клочка не украл.

Все лето ферма работала как часы. И животные были рады-радехоньки — они и думать не могли, что так бывает. Никогда они не ели с таким удовольствием: совсем другое дело, когда вырастишь еду сам и для себя, а не получишь из рук скупердяя хозяина. После того как они прогнали людей, этих никчемных паразитов, на долю каждого приходилось больше еды. И хотя недостаток опыта явно сказывался, отдохали они тоже больше. Трудности преследовали их на каждом шагу — например, когда пришло время собирать урожай, им пришлось молотить его на старинный лад на току, а чтобы вывезть мякину — дуть изо всех сил: молотилки на ферме не было; но они преодолевали любые трудности благодаря свиньям, их уму, и Бойцу, его невероятной силе. Бойцом восхищались все. Он и при Джонсе не ленился, а теперь и вовсе работал за троих; бывали дни, когда он вывозил на себе чуть не всю работу. С утра до ночи он тянул и тащил и всегда поспевал туда, где тяжелее всего. Он попросил одного из петушков будить его поутру на полчаса раньше, по своему почину шел на самый узкий участок и до начала рабочего дня трудился там. Какие бы осечки, какие бы неудачи у них ни случались, у Бойца на все был один ответ: «Я буду работать еще упорнее», — такой он взял себе девиз.

Но и другие тоже работали в меру своих сил. От каждого по способностям: куры и утки, например, собрали по колоску чуть не два центнера оставленной в поле пшеницы. Никто не крал, не ворчал из-за пайков; склоки, брань, зависть почти прекратились, а ведь раньше считалось, что это в порядке вещей. Никто не отлынивал от работы, вернее, почти никто. Молли, правда, неохотно вставала поутру и норовила

уйти с работы пораньше под предлогом, что поранила копыто камнем. Да и кошка вела себя подозрительно. Было замечено: едва ей хотели поручить какую-нибудь работу, кошка смывалась. Она надолго пропадала и объявлялась как ни в чем не бывало только к обеду или к вечеру, когда вся работа была уже сделана. Но она так убедительно оправдывалась, так ласково мурлыкала, что нельзя было не поверить: всему виной неудачно сложившиеся обстоятельства. А вот Вениамин, старый ослик, каким был, таким и остался. Медлительный, нравный, он работал так же, как при Джонсе, от работы не отлынивал, но и на лишнюю работу не напрашивался. Ни о восстании, ни о связанных с ним переменах он не высказывался. Если его спрашивали, лучше ли ему живется без Джонса, он говорил только:

— Ослиный век долгий, никому из вас не довелось видеть мертвого осла, — и всем приходилось довольствоваться этим загадочным ответом.

По воскресеньям не работали. Завтрак бывал на час позже обычного, и всякий раз неизменно заканчивался пышной церемонией. Первым делом выкидывали флаг. Обвал отыскал в сбруйнице старую скатерть миссис Джонс и изобразил на ней белой краской рог и копыто. И каждое воскресенье поутру скатерть взлетала на флагшток в саду. Зеленый цвет, объяснил Обвал, означает зеленые поля Англии, а рог и копыто знаменуют грядущую Скотную Республику, которая будет учреждена, когда мы повсеместно свергнем род людской. После поднятия флага животные тянулись в большой амбар на сходку — назывались эти сходки собраниями. На собраниях планировалась работа на текущую неделю, выдвигались и обсуждались разные предложения. Выдвигали предложения свиньи. Как голосовать, другие животные понимали, но ничего предложить не могли. На обсуждениях Обвал и Наполеон забивали всех своей активностью. Но было замечено, что эти двое никогда не могут согласиться: какое бы предложение ни вносил один, другой выступал против. Даже когда решили — и тут уж вроде и возразить было нечего — отвести загончик за садом под дом отдыха для престарелых, они затеяли бурный спор о том, в каком возрасте каким животным ухаживать на покой. Собрания обязательно завершались пением «Тварей Англии», ну а днем развлекались кто как.

Сбруйницу свиньи забрали себе под штаб-квартиру. Здесь они вечерами изучали кузнечное, плотницкое дело и другие ремесла по книгам, позаимствованным в хозяйском доме. Обвал, кроме того, увлекся созданием всевозможных скотных комитетов. Этому занятию он предавался самозабвенно. Он учредил Комитет по яйцекладке — для кур, Комиссию по очистке хвостов — для коров, Ассоциацию по перевоспитанию диких товарищей (ее целью было приручение крыс и кроликов); Движение за самую белую шерсть — для овец, и так далее и тому подобное, не говоря уж о кружках по ликвидации безграмотности. Как правило, из проектов Обвала ничего не выходило. К примеру, попытка приручения диких животных провалилась чуть не сразу. В повадках диких животных не замечалось никаких перемен, а от хорошего отношения они только еще пуще распоясывались. Кошка вошла в Ассоциацию по перевоспитанию и на первых порах развила большую активность. Однажды ее застали на крыше: она проводила беседу с сидящими от нее на почтительном расстоянии воробьями — разъясняла им, что все животные теперь братья и если кто из воробьев пожелает сесть к ней на лапку — милости просим, но воробьи не торопились принять ее приглашение.

А вот кружки по ликвидации безграмотности, напротив, дали прекрасные результаты. К осени чуть не все в той или иной мере научились грамоте.

Что касается свиней, они уже свободно читали и писали. Собаки недурно читали, но ничего, кроме семи заповедей, читать не хотели. Коза Мона читала лучше собак и порой вечерами почитывала животным обрывки подобранных на помойке газет. Вениамин читал не хуже любой свиньи, но своим умением никогда не пользовался. Насколько ему известно, говорил он, ничего путного не написано, а раз так, зачем и читать. Кашка выучила алфавит от первой до последней буквы, но не умела складывать слова. Боец дальше буквы Г не пошел. Большущим копытом он выводил в пыли А, Б, В, Г, затем стоял, приложив уши, изредка потряхивал челкой и тарачился на буквы, стараясь запомнить, какие же идут дальше, но куда там. Правда, ему случалось, и не раз, выучивать и Д, и Е, и Ж, и З, но тогда оказывалось, что он тем временем успевал забыть А, Б, В и Г. В конце концов он решил довольствоваться

первыми четырьмя буквами и поставил себе за правило писать их два раза в день, чтобы они не выветрились из памяти. Молли никаких других букв, кроме пяти, образовавших ее имя, учить не желала. Зато эти она ровненько выкладывала из прутиков, украшала там-сям цветком и, не в силах отвести глаз от своего имени, долго ходила вокруг.

Остальная скотина не пошла дальше А. Обнаружилось также, что животные поглупее, а именно овцы, куры и утки не способны выучить семь заповедей наизусть. Обвал подумал-подумал, потом объявил, что вообще-то семь заповедей можно свести к одному правилу, а именно: «Четыре ноги хорошо, две — плохо!» В нем, заявив Обвал, заключен основополагающий принцип скотизма. Тому, кто его хорошо усвоит, не опасно людское влияние. Против этого принципа поначалу выступили птицы: ведь у них, как они считали, тоже две ноги, но Обвал доказал им, что они ошибаются.

— Хотя как птичье крыло, так и рука, товарищи,— сказал он,— орган движения, но у него совершенно иная разновидность локомоции. И, соответственно, его следует приравнять к ноге. Отличительным же признаком человека является рука — это орудие всех его преступлений.

Птицы ученых слов не поняли, однако объяснение Обвала приняли, и все животные потупее принялись разучивать новое правило наизусть. «Четыре ноги хорошо, две — плохо!» — начертали большими буквами на торце амбара над семью заповедями. Заучив это правило наизусть, овцы очень к нему привязались и частенько, лежа в поле, хором заводили: «Четыре ноги хорошо, две — плохо! Четыре ноги хорошо, две — плохо!» — и блеяли так часами, без усталости.

Наполеон не выказывал никакого интереса к Обваловым комитетам. Он заявил, что во главу угла надо ставить воспитание молодежи, а не тех, кто уже сформировался как личность. Случилось так, что Роза и Ромашка после сенокоса разом ощенились — у обеих народилось девять крепких щенков. Едва щенят отняли от груди, Наполеон отнял их у матерей, сказав, что берет их воспитание на себя. И унес щенят на сеновал, куда попасть можно было лишь по приставной лестнице, стоявшей в сбруйнице, так что щенят никто не видел и об их существовании вскоре забыли.

Таинственная история с пропажей молока вскоре разъяснилась. Свиньи подливали его каждый день в свой корм.

Начали созревать ранние сорта яблок, и трава в саду была усеяна падалицей. Животные считали, что падалицу, естественно, разделят между всеми поровну, но вскоре вышел приказ подобрать падалицу и снести в сбруйницу для удовлетворения потребностей свиней. Кое-кто начал было роптать, но без толку. Тут все свиньи, даже Наполеон и Обвал, проявили полное единодушие. Стукача послали к животным провести среди них разъяснительную работу.

— Товарищи! — взывал он. — Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи — работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем, и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих. Знаете ли вы, что случилось бы, если бы мы, свиньи, оказались не в состоянии выполнять свой долг? Джонс вернулся бы! Да, да, вернулся бы Джонс! Уж не хотите ли вы, товарищи, — взывал Стукач, вертясь выюном и крутя хвостиком, — уж не хотите ли вы возвращения Джонса?

А если животные чего не хотели, так это возвращения Джонса. И когда им представили дело в таком свете, они мигом замолчали. Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что здоровье свиней — дело первостепенной важности. И животные без лишних разговоров согласились, что и молоко, и падалицу (а когда поспеют яблоки, то и весь их урожай) следует предназначить исключительно для свиней.

Глава IV

К концу лета слухи о событиях на Скотном Дворе обошли чуть не полстраны. Каждый день Обвал и Наполеон рассылали стаю голубей с заданием проникать на соседние фермы, рассказывать животным о восстании, обучать их петь «Твари Англии».

Тем временем мистер Джонс почти безвыходно сидел в пивной уиллингдонской гостиницы «Красный Лев» и плакался любому, кто соглашался слушать, на черную неблагодарность животных, которые выгнали его взашей с его же двора: пусть-ка теперь справятся без него. Фермеры вообще-то ему сочувствовали, но помогать не спешили. В глубине души каждый задавался вопросом: нельзя ли как-нибудь Джонсову беду обратить себе на пользу. По счастью, между хозяевами обеих ферм, граничащих со Скотным Двором, не прекращались распри. Одна из ферм, называлась она Плутни, большая и запущенная, велась по старинке: угодя ее зарастали мелколесьем, выгоны были вытолчены, заборы покосились. Хозяин ее, мистер Калмингтон, благодушный фермер с барскими замашками, чуть не все время пропадал то на рыбной ловле, то на охоте — смотря по сезону. Другая ферма, именовалась она Склоки, была поменьше и велась лучше. Хозяин ее, некий мистер Питер, ловкач и выжига, затевал бесчисленные тяжбы и в умении облапошить не знал равных. Они настолько не переваривали друг друга, что никогда и ни о чем не могли договориться, даже если от этого страдали их собственные интересы.

Однако восстание на Скотном Дворе не на шутку перепугало обоих, и что тот, что другой чего только не делали, чтобы их животные о нем не узнали. Поначалу они просто насмеялись над животными — эка хватили, ну где им самим вести хозяйство. Да животные не продержатся у власти и двух недель, говорили они. И распускали слухи, что на Господском Дворе (они упорно называли ферму Господским Двором, настолько им было ненавистно название Скотный Двор) начались междоусобицы и что не сегодня завтра скотина там начнет подыхать с голоду. Но время шло, скотина и не думала дохнуть с голоду, и тогда Питер и Калмингтон сменили пластинку и стали рассказывать о чудовищном падении нравов на Скотном Дворе. Сообщали, что животные пожирают друг друга, ввели пытки раскаленными подковами и обобществили самок. Вот чем кончается, когда восстают против законов природы, — так говорили Питер и Калмингтон.

Им, однако, не очень-то верили. И молва о замечательной ферме, где прогнали людей и где животные сами вершат дела, пусть неточная и искаженная, шла все дальше и дальше,

и весь год в округе попахивало бунтом. Быки, прежде покладистые, впадали в буйство, овцы валили изгороди и пожирали клеверища, коровы опрокидывали подойники, скакуны, вместо того чтобы брать барьеры, перекидывали через них ездоков. И в довершение всего в Англии не осталось такого места, где не знали бы мелодии да и слов «Тварей Англии». Песня разошлась с неслыханной быстротой. Люди при ее звуках впадали в ярость, но притворялись, что считают ее нелепой. Стыд и срам, говорили они, петь подобную чушь, даже от животных они не ожидали ничего подобного. Если кого-нибудь из животных застигали за пением «Тварей Англии», его тут же, на месте преступления, охаживали кнутом. Но задушить песню не удалось. Ее насвистывали дрозды на изгородях, чирикали воробьи на ветках вязов, выбивали молоты кузнецов, вызванивали церковные колокола. При звуках ее люди втайне трепетали — им слышалось предвестие грядущей гибели.

В начале октября, когда убрали, заскирдовали и начали обмолачивать пшеницу, голуби, вне себя от возбуждения, рассекая воздух, опустились на Скотном Дворе. Джонс и все его работники, а с ними и пяток парней из Плутней и Склок вошли в тесовые ворота и по проселочной дороге двигаются к Скотному Двору. У всех при себе дубинки, впереди с ружьем наперевес Джонс. Сомневаться не приходилось: они вознамерились отбить ферму.

Животных не застали врасплох — они давно готовились к нападению. Оборону возглавил Обвал — он загодя проштудировал растрепанный том «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря, обнаруженный им в хозяйском доме. Обвал сыпал приказами и в считанные минуты расставил всех по местам.

Люди еще только подходили к ферме, а Обвал уже начал наступление. Голуби, в числе тридцати пяти штук, носились взад-вперед над людьми и гадили им на головы; покуда люди отчищались, на них напали притаившиеся за изгородью гуси и щипали их за ноги. Но это был всего лишь отвлекающий маневр, имевший целью внести расстройство в ряды противника, и люди без особого труда отогнали гусей палками. И вот тут-то Обвал двинул в бой главные силы. Мона, Вениамин и овцы под водительством Обвала ринулись на людей, окружили их — и ну бодать, ну пырять, а Вениамин

оборотился задом — и давай брыкаться. Но куда там — и на этот раз они не одолели людей: у тех ведь и дубинки, и подбитые гвоздями башмаки, и тогда Обвал, пронзительно заверещав, подал сигнал к отступлению, и животные, разом повернув, укрылись во дворе.

Раздался торжествующий крик. Люди сочли, что враг отступил и, не потрудившись навести порядок в своих рядах, бросились преследовать его. На что и рассчитывал Обвал. Едва люди углубились во двор, в тылу у них обнаружили три лошади, три коровы и остальные свиньи — они устроили засаду в коровнике и отрезали людям путь к отступлению. Вот тут-то Обвал и подал сигнал к атаке. Сам он взял на себя Джонса. Джонс увидел, что Обвал мчится прямо на него, вскинул ружье и нажал курок. Заряд дроби угодил Обвалу в спину, оставив на ней кровавые борозды, и убил наповал одну овцу. Но Обвал не дрогнул и всей своей шестипудовой тушей двинул Джонса по ногам. Джонс отлетел на навозную кучу и выронил ружье. Но сильнее всех перепугал людей Боец: встав на дыбы — ну жеребец жеребцом, — он бил здоровенными подкованными копытами. Первый же из его ударов угодил конюху из Плутней по голове, и тот замертво свалился в грязь. Люди побросали дубинки и кинулись в бегство. Животные, воспользовавшись растерянностью людей, дружно гоняли их кругами по двору. Поднимали на рога, пинали, кусали, топтали. Не было животного на ферме, которое не постаралось бы посильно отплатить за все обиды. Даже кошка и та спрыгнула с крыши на плечи скотнику и запустила ему когти в шею, да так, что он заорал благим матом. Едва путь к воротам открылся, люди бросились к большаку — они не чаяли унести ноги. И пяти минут не прошло, как они вторглись на Скотный Двор, и вот уже они с позором отступали, а за ними, злобно шипя, гналась по пятам стая гусей.

Удрать удалось всем нападающим, кроме одного. На задах Боец копытом поддевал лежавшего ничком в грязи конюха, стараясь его перевернуть.

— Он умер, — горевал Боец, — а ведь я не хотел его убить. Совсем запамятовал, что меня подковали. А теперь никто не поверит, что это я нечаянно.

— Отставить сантименты, товарищ! — прикрикнул на него Обвал, обливаясь кровью. — Война есть война. Хороший

человек — это мертвый человек.

— Я не хочу никого убивать, пусть даже и людей, — твердил Боец, и в глазах его стояли слезы.

— А где же Молли? — послышался вопрос.

Молли и впрямь исчезла. Поднялся переполох: ведь люди могли ее поранить, а то и увести с собой. В конце концов ее обнаружили: она пряталась в деннике, зарыв голову в ясли с сеном. Едва раздался выстрел, она сбежала с поля боя. Пока искали Молли, конюх — оказалось, он всего-навсего лишился чувств — опаматовался и смылся.

Животные снова сошлись и вне себя от возбуждения повествовали о своих подвигах, норовя перекричать друг друга. Решили, не откладывая дела в дальний ящик, экспромтом отпраздновать победу. Подняли флаг, несколько раз подряд спели «Твари Англии», с почестями похоронили павшую в бою овцу и посадили на ее могиле куст боярышника. Над могилой Обвал произнес речь, в которой подчеркнул, что они все как один должны быть готовы, если потребуется, отдать жизнь за Скотный Двор.

Единогласно решили учредить награду за боевые заслуги Герой Скотного Двора I степени — ее прямо на месте присвоили Обвалу и Бойцу. Награжденным предписывалось по воскресеньям и праздничным дням носить медную медаль (на них пошли бляхи со шлей, которые нашлись в сбруйнице). Учредили также звание Героя Скотного Двора II степени — его посмертно присвоили овце.

Долго спорили о том, как назвать этот бой. В результате решили именовать его Бой под коровником — ведь именно из коровника сидевшие в засаде ударили по врагу. Извлекли из грязи ружье мистера Джонса, а на ферме, как было известно, имелись к нему патроны. Приняли решение установить у подножья флагштока вместо пушки ружье, и дважды в год отмечать залпом годовщину Боя под коровником — 12 октября и годовщину восстания — накануне Иванова дня.

Глава V

К зиме с Молли совсем не стало сладу. Что ни утро она опаздывала на работу, в оправдание говорила, что проспала, жа-

ловалась на таинственные недомогания, хотя ела по-прежнему с отменным аппетитом. Она выискивала всевозможные предлоги, чтобы бросить работу, удираала к пруду и часами стояла там, преглупо глаза на свое отражение в воде. Но, если верить молве, имелись у нее проступки и посерьезнее. И однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клочок сена, Кашка отвела ее в сторону.

— Молли,— сказала она.— Я должна серьезно поговорить с тобой. Утром я видела, как ты через изгородь заглядывала в Плугни. По ту сторону изгороди стоял конюх мистера Калмингтона. Так вот, хотя я и была от вас далеко, глаза меня не обманули: я видела, что он говорит с тобой, треплет тебя по храпу, а ты ничуть этому не противишься. Молли, что это значит?

— И вовсе он не трепал! И не стояла я там! Ничего этого не было! — выкрикнула Молли и стала выделывать курбеты и рыть копытами землю.

— Молли! Погляди мне в глаза! Поклянись, что конюх не трепал тебя по храпу!

— Ничего этого не было! — повторила Молли, но глаза отвела и давай ходу в поле.

И тут-то Кашку осенила мысль. Никому ничего не говоря, она пошла в Моллин денник и переворошила солому. Под соломой обнаружилась кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент.

А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла за неделей, но никто так и не знал, где она, потом голуби донесли, что ее видели на другой стороне Уиллингдона. Она стояла у пивной, запряженная в изящные красно-черные дрожки. Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и гамашах, по всей вероятности хозяин пивной, трепал ее по храпу и кормил сахаром. Грива ее была свежестрижена, челку украшала алая лента. Если верить голубям, она явно наслаждалась жизнью. С тех пор никто и никогда не произносил имени Молли.

В январе залютовали морозы. Земля стала твердая, как камень, работы в поле пришлось прекратить. Собrania перенесли в большой амбар, свиньи же всецело отдались планировке весенних работ. Все согласилось, что кому, как не свиньям, раз они явно всех умнее, и направлять работу фер-

мы, но решения их будут утверждаться лишь в том случае, если за них проголосует большинство. Задумано было дельно, да вот беда — между Обвалом и Наполеоном вечно шли споры. Они расходились во всем, был бы повод. Если один предлагал сеять больше ячменя, другой соответственно требовал сеять больше овса, если же один говорил, что на этом поле хорошо бы посадить капусту, другой утверждал, что оно годится исключительно под свеклу. У каждого были свои сторонники, и между ними то и дело завязывались ожесточенные дискуссии. Обвал, пламенный оратор, увлекал за собой чуть не всех слушателей на собраниях, но только на собраниях, а так-то куда лучше обеспечивал себе поддержку Наполеон. Особенно охотно шли за Наполеоном овцы. Последнее время они повадились блеять «Четыре ноги хорошо, две — плохо!» к месту и не к месту и своим бляньем постоянно прерывали собрания. Было замечено, что они почти всегда приурочивали свое «Четыре ноги хорошо, две — плохо!» к решающим местам речей Обвала. Обвал прочел от корки до корки комплект «Земледельца и скотовода», обнаруженный им в хозяйском доме, и был переполнен до краев планами всевозможных новшеств и усовершенствований. Он со знанием дела рассуждал о дренаже, силосе, фосфорных удобрениях и разработал хитроумный проект, который предписывал животным оставлять навоз только на поле, причем каждый раз на другом месте, что обеспечивало большую экономию труда по перевозке удобрений. Наполеон же, напротив, никаких проектов не выдвигал, зато преспокойно утверждал, что из проектов Обвала ничего не выйдет, и, похоже, выжидал время. Но самая жестокая из всех стычек вышла у них из-за ветряной мельницы.

На выгоне, тянувшемся вдоль служб, вздымался взгорок — выше его не было места на ферме. Обозрев окрестности, Обвал заявил, что взгорок буквально создан для ветряной мельницы, а на мельнице они поставят генератор, и он будет снабжать ферму током. Тогда они проведут в стойла свет, смогут отапливать их зимой, не говоря уж о том, что ток позволит завести дисковую пилу, соломорезку, свеклорезку и машинную дойку. Животные ни о чем подобном и слыхом не слыхивали (ферма была из самых отсталых, и если там и имелись машины, то крайне допотопные), поэтому они, развесив уши, внимали Обвалу, а тот развернул

перед ними заманчивую картину: машины делают за них всю работу, они же пасутся в свое удовольствие, а то и повышают свой уровень чтением и беседами.

Недели через две-три Обвал полностью разработал проект ветряной мельницы. В основу технической части легли три источника: «Тысяча полезных советов по дому», «Каждый сам себе каменщик» и «Что надо знать начинающему электрику», позаимствованные в библиотеке мистера Джонса. Под свой кабинет Обвал приспособил сарай, где раньше размещался инкубатор, — там был ровный деревянный пол, как нельзя лучше подходящий для черчения. Обвал часами пропадавал в нем. Придавив книгу на нужной странице камнем, зажав в ножке мелок, он сновал взад-вперед по сараю, проводил черту за чертой и повизгивал от восторга. Мало-помалу чертеж — сложное переплетение коленчатых валов и зубчатых колес — распространился чуть не на половину сарая; на животных, пусть они в нем ничего не понимали, он производил сильнейшее впечатление. Не было такого животного, которое хоть раз в неделю, а не пришло бы посмотреть на чертеж Обвала. Даже куры и утки и те приходили, правда, старались держаться подальше от меловых линий. Один Наполеон не выказывал никакого интереса к мельнице. Он с самого начала заявил себя ее противником. Тем не менее и он в один прекрасный день явился посмотреть на чертеж. Тяжело ступая, обошел сарай, разглядел чертеж в мельчайших подробностях, нюхнул его там-сям, потом задрал вдруг ногу, пустил на чертеж струю и, не сказав ни слова, покинул сарай.

Из-за строительства ветряной мельницы на ферме произошёл раскол. Обвал не скрывал, что строительство ветряной мельницы потребует от них отдачи всех сил. Придется добывать камень, возводить стены, сооружать крылья, а там понадобятся и генератор, и провода. (Как он рассчитывает их раздобыть, Обвал не уточнял.) И тем не менее, заверял он животных, они построят мельницу за год. Ну а потом, утверждал он, мельница даст такую экономию труда, что они смогут работать всего три дня в неделю. Наполеон же, напротив, провозгласил, что на сегодня первоочередная задача — увеличить производство кормов, строительство же ветряной мельницы лишь отвлечет их и обречет на голодную смерть. Животные разбились на два лагеря; один выдвинул

лозунг «Голосуйте за Обвала и три дня работы в неделю», другой — «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Только Вениамин не примкнул ни к одному лагерю. Он не верил ни в грядущее изобилие, ни в экономию труда, которую якобы даст ветряная мельница. С мельницей или без мельницы, говорил он, они как жили, так и будут жить, иначе говоря, плохо.

Разногласия возникали не только из-за строительства ветряной мельницы, в вопросе обороны фермы тоже не было единства. Все понимали, что, хотя люди потерпели поражение в Бою под коровником, они предпримут еще одну, на этот раз более решительную попытку отвоевать ферму и восстановить власть мистера Джонса. Тем более что весть о поражении людей обошла округу и животные на соседних фермах вовсе отбились от рук. Обвал и Наполеон и тут полностью разошлись. Наполеон требовал добыть огнестрельное оружие и наладить боевую подготовку. Обвал — рассылать побольше голубей и поднимать на восстание скотину соседних ферм. Надо крепить оборону, иначе нас сомнут, утверждал один; надо поднять на восстание скотину всех ферм — и тогда никакая оборона не понадобится, утверждал другой. Животные слушали сначала Обвала, потом Наполеона и никак не могли решить, кто же из них прав; вообще-то они единодушно поддерживали каждого оратора, который выступал перед ними.

Но вот настал день, и Обвал завершил свой проект. В следующее же воскресенье поставили на голосование вопрос — приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы. Когда животные собрались, Обвал взял слово и, хотя овцы то и дело прерывали его блеяньем, подробно обосновал, почему он ратует за строительство ветряной мельницы. Затем слово для ответа взял Наполеон. Он преспокойно заявил, что ветряная мельница — суцая чушь и что он не советует за нее голосовать; говорил он полминуты, не больше, и, похоже,нисколько не интересовался тем, как подействуют его слова на слушателей. Следом вскочил Обвал и, громовым голосом перекрывая овец, которые тут же принялись блеять, произнес пламенную речь в защиту ветряной мельницы. До сих пор у Обвала и Наполеона было примерно поровну сторонников, но Обвал своим ораторским искусством увлек за собой всех. Он в самых радужных красках расписал,

каким станет Скотный Двор, когда скотина сбросит с себя бремя непосильного труда. Воображение его разыгралось — он пошел куда дальше жалких соломо- и репорезок. Электричество, сказал он, приведет в действие молотилки, плуги, бороны, косилки, жатки, сноповязалки, более того, электричество даст возможность провести в каждое стойло свет, горячую, холодную воду и отопление. Обвал еще не кончил свою речь, а исход голосования уже был совершенно ясен. Но тут Наполеон встал, многозначительно глянул на Обвала и испустил пронзительный визг — никто и никогда не слышал от него такого.

В ответ послышался устрашающий лай, и девять здоровенных псов в ошейниках с медным набором ворвались в амбар. Они напрямик рванули к Обвалу, и хорошо еще тот схватился с места, иначе не сносить бы ему головы. В минуту Обвал был за дверью, псы пустились за ним. Ошеломленные, перепуганные животные молча вывалились из сарая — следить за погоней. Обвал мчал через длинный выгон к большаку. Он бежал со всех ног, никто, кроме свиней, не умел так бегать, и все равно псы догоняли его. Вдруг он поскользнулся — казалось, псы сейчас схватят его. Ан нет, он вскочил, еще надал, но вот опять расстояние между ним и псами стало сокращаться. Еще чуть-чуть — и, не вильни Обвал вовремя хвостом, один из псов вцепился бы в него. Но Обвал опять надал, оторвался от псов, юркнул в дыру в изгороди и был таков.

Притихшие, запуганные животные поплелись обратно в сарай. Псы чуть не сразу вернулись. Поначалу все недоумевали, откуда они взялись, но загадка быстро разрешилась: это были те самые щенки, которых Наполеон отнял у Розы и Ромашки и держал на сеновале. Они уже вымахали в здоровенных псов, свирепых, что твои волки, а ведь им предстояло еще расти. Они ни на шаг не отходили от Наполеона. Было замечено, что они пресмыкаются перед ним, точь-в-точь как в прежние дни перед мистером Джонсом пресмыкались его псы.

Потом Наполеон в сопровождении псов взобрался на помост, с которого некогда произнес свою речь Главарь. Наполеон объявил, что отныне воскресные собрания отменяются. Они исчерпали себя, сказал Наполеон, и превратились в пустую трату времени. В дальнейшем все вопросы, касаю-

щиеся работы фермы, будут переданы в ведение комитета, куда войдут только свиньи, а возглавит его он лично. Заседания комитета будут закрытыми, о принятых решениях животных будут ставить в известность. Поутру в воскресенье животные по-прежнему будут сходиться — отдавать честь флагу, петь «Твари Англии» и получать наряды на неделю, но дискуссии прекращаются отныне и навсегда.

Как ни потрясло животных изгнание Обвала, отмена дискуссий удручила их до крайности. Кое-кто наверняка бы запротестовал, найдись у него доводы. Даже Боец был озадачен. Он приложил уши, потряхивал челкой, но мысли у него разбегались, и, как ни тужился, он не мог придумать, что бы тут сказать. Зато среди самих свиней обнаружили такие, у которых нашлось что возразить. Четверо подсвинков в первом ряду возмущенно заверещали, разом вскочили и заговорили хором. Но псы, окружившие Наполеона, грозно зарычали, и подсвинки прикусили языки и сели. Овцы сразу же грянули: «Четыре ноги хорошо, две — плохо!» — и блеяли так чуть не четверть часа — какие уж тут дискуссии!

После чего Стукач получил задание обойти ферму и объяснить животным новые порядки.

— Товарищи,— сказал он,— я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермой. Уж не думаете ли вы, товарищи, что руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжелый труд. Нет и не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решений сам, а доверить это вам. Но кто поручится, что вы не примете неверное решение? Вдруг вы решили бы пойти за Обвалом с его вилами по воде писанными ветряными мельницами, тем самым Обвалом, который разоблачил себя как вредитель?

— Он храбро дрался в Бою под коровником,— раздался голос.

— Одной храбрости мало,— сказал Стукач,— преданность и беспрекословное повиновение — вот что важно. Что же касается Боя под коровником, я верю — недалек тот час, когда выяснится, что роль Обвала в Бою под коровником сильно раздута. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина! Вот наш девиз на сегодняшний день. Один неверный

шаг — и враг нападет на нас. Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?

И опять он нашел безошибочный довод. Конечно же, они не хотели, чтобы Джонс возвратился, и, если воскресные дискуссии могут способствовать возвращению Джонса, они прекратят дискуссии. Боец — он успел собраться с мыслями — выразил общее мнение:

— Раз так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть. Товарищ Наполеон никогда не ошибается.

И отныне к прежнему своему девизу «Я буду работать еще упорнее», прибавил девиз «Товарищ Наполеон всегда прав».

Холода наконец отступили — пора было начинать весеннюю пахоту. Сарай, где Обвал чертил ветряную мельницу, заперли, а чертежи, по всей вероятности, стерли. По воскресеньям животные сходились к десяти утра в большой амбар за нарядами на неделю. Череп старого Главаря, отполированный временем, вырыли и установили в саду на пне у подножья флагштока рядом с ружьем. После поднятия флага животным, прежде чем проследовать в амбар, надлежало пройти церемониальным маршем мимо черепа. Теперь они больше не садились скопом, как прежде. Наполеон со Стукачом и еще один хряк, по имени Последний, наделенный поразительным даром слагать песни и стихи, усаживались на помосте, за ними полукругом помещались девять собак, позади них — прочие свиньи. Остальные животные располагались напротив, но не на помосте, а прямо на полу. Наполеон грубовато, по-солдатски распределял наряды на неделю, и, пропев один раз «Твари Англии», животные расходились.

На третье воскресенье после изгнания Обвала Наполеон заявил, что ветряная мельница все же будет построена, чем несколько озадачил животных. Почему он изменил свое решение, Наполеон не объяснил, лишь предупредил их, что выполнение этой дополнительной задачи потребует от них поистине небывалых усилий и не исключено, что их пайки придется урезать. Проект строительства ветряной мельницы, как оказалось, был уже разработан до мельчайших деталей. Последние три недели над ним работал особый комитет, куда вошли исключительно свиньи. Предполагалось, что строительство ветряной мельницы, ну и еще

кое-каких служб, займет два года.

Вечером Стукач провел с каждым индивидуальную работу, разъяснил, что на самом деле Наполеон вовсе не возражал против строительства ветряной мельницы. Напротив, он с самого начала ратовал за нее, и проект, который они видели на полу сарая, выкраден Обвалом у Наполеона. Ветряная мельница, в сущности, детище Наполеона. Почему же тогда, раздался голос, Наполеон так резко выступил против нее? Тут Стукач скорчил лукавую мину. В этом, объяснил он, и проявилась мудрость товарища Наполеона. Он умышленно выказал себя противником строительства ветряной мельницы, чтобы при помощи этого хитрого хода убрать с дороги Обвала, матерого врага, который мог увлечь их по неверному пути. Теперь же, когда Обвал обезврежен, они наконец-то приступят к строительству ветряной мельницы. Вот что такое тактика, сказал Стукач. Тактика, товарищи, тактика, хихикал он, вертясь вокруг них вьюном и крутя хвостиком. Животные не поняли, что это значит, но Стукач говорил так напористо, а трое случившихся тут псов рычали так злобно, что они не стали углубляться и удовлетворились его объяснениями.

Глава VI

Всю зиму животные работали как каторжные. Но труд был для них счастьем: они не жалели сил, шли на любые жертвы — их вдохновляло, что они работают ради себя, ради грядущих поколений, а не ради людей, этих бездельников и эксплуататоров.

Весну и лето они работали по десять часов в день, а в августе Наполеон объявил, что отныне им придется работать и по воскресеньям после обеда. Явка на воскресники, разумеется, строго добровольная, но тем, кто не явится, паек урежут наполовину. Несмотря на это, они сделали далеко не все, что запланировали. Урожай собрали не такой богатый, как в прошлом году, и два поля, которые предполагалось засеять свеклой и брюквой, пустовали, потому что их вовремя не распахали. Уже сейчас было ясно, что зима предстоит трудная.

При строительстве ветряной мельницы они столкнулись с совершенно неожиданными сложностями. На ферме имелся известняковый карьер, и не маленький. В одном из сараев обнаружили изрядный запас песка и цемента, так что все стройматериалы были в их распоряжении. Но возникла одна задача, которая поначалу поставила их в тупик: надо было разбить камни на куски потребного размера. Без лома и кирки тут не обойтись, а с ними животным не управиться: ведь никто из них не может стоять на задних ногах. Не одна неделя прошла, прежде чем нашли выход, а именно использовать силу тяжести. На дне карьера лежали громадные, не пригодные для строительства валуны; обвязав веревкой, животные миром — коровы, лошади, овцы, буквально все, кто мог держать веревку, а когда валун грозил сорваться, даже свиньи — пядь за пядью, натужно, медленно втаскивали валун вверх по откосу, затем сбрасывали на дно, где он разлетался на куски. Доставить разбитый камень не составляло особого труда. Лошади возили его телегами, овцы волокли камень за камнем, Мона и Вениамин на пару впрягались в обшарпанную повозку, чтобы внести посильный вклад в общее дело. К концу лета камня заготовили достаточно и под руководством свиней приступили к строительству.

Но строительство двигалось медленно, негладко. Нередко они бились чуть не целый день, а втаскивали наверх единственный валун, причем случалось и так, что сброшенный валун не разбивался. Им бы нипочем не справиться без Бойца: ведь силой он равнялся чуть не всем животным, вместе взятым. Если валун полз вниз, увлекая животных за собой, Боец налегал на веревку и удерживал его на месте. Когда он шаг за шагом поднимался по откосу, надрывно храпя, упираясь копытами, с белыми от мыла боками, животные с обожанием глядели на него. Кашка порой просила его беречь себя, не надрывать, но Боец и слушать ничего не хотел. Он считал, что с помощью двух лозунгов: «Я буду работать еще упорнее» и «Товарищ Наполеон всегда прав» одолеет все трудности. И попросил петушка будить его поутру не на полчаса, а на три четверти часа раньше. Едва у него выдавалась такая редкая теперь свободная минута, он по своему почину спускался в каменоломню, нагружал телегу обломками валунов и самосильно втаскивал

их на стройплощадку.

И все же, пусть животные и работали до изнеможения, лето они прожили неплохо. Кормили их хоть и не лучше, чем при Джонсе, но и не хуже. Зато в их положении имелось одно преимущество: теперь они кормили лишь себя, тогда как прежде на их шее сидело пять человек, притом прожорливых,— преимущество немаловажное, оно искупало многое. Вдобавок кое-какие работы животные выполняли и ловчее, и сноровистее: поля, к примеру, они пропалывали так дотошно, как людам и не снилось. К тому же прекратились потравы, а значит, отпала надобность отгораживать выгоны от пашен и, следовательно, чинить изгороди и ворота. Тем не менее этим летом — и чем дальше, тем чаще — не хватало то одного, то другого. Недоставало керосина, гвоздей, веревок, галет для собак, железа для подков, Скотный же Двор ничего подобного не производил и произвести не мог. А там ведь потребуются еще и семена, и минеральные удобрения, не говоря уж о лопатах, кирках и тому подобном, и, наконец, оборудование для мельницы. Каким путем все это раздобыть, они не представляли.

И однажды в воскресенье, когда животные пришли поутру за недельными нарядами, Наполеон объявил, что взял курс на новую политику. Отныне Скотный Двор начинает торговать с соседними фермами, но отнюдь не ради прибыли, а с целью получить товары, без которых им в настоящий момент никак не обойтись. Задача строительства ветряной мельницы должна быть для нас превыше всего, сказал Наполеон. Вот почему он ведет переговоры о продаже стога сена, а также части урожая пшеницы текущего года, ну а там, если снова возникнет нужда в деньгах, они покроют ее за счет продажи яиц — в Уиллингдоне на них всегда спрос. Куры, сказал Наполеон, должны радоваться, что от них требуется эта жертва: она позволит им внести личный вклад в строительство ветряной мельницы.

И снова животным стало несколько не по себе. Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться деньгами: разве после победы над Джонсом не были — среди прочих — приняты и такие решения? Что такие решения принимали, всем помнилось, во всяком случае, помнилось что-то вроде этого. Четыре подсвинка, те самые, которые возмутились, когда Наполеон отменил

собрания, попытались было возразить, но собаки грозно зарычали, и они вмиг стихли. Овцы тут же грянули свое неизменное «Четыре ноги хорошо, две — плохо», и замешательство быстро сгладилось. Тогда Наполеон вскинул вверх ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже обо всем договорился. Никому из них не придется вступать в сношения с людьми, что, безусловно, было бы крайне нежелательно. Эту ношу он целиком и полностью взвалит на себя. Некий мистер Сопли, ходатай, живущий в Уиллингдоне, согласился служить посредником между Скотным Двором и соседними фермами — каждый понедельник поутру он будет приходить за указаниями. В конце речи Наполеон, как всегда, провозгласил: «Да здравствует Скотный Двор!», потом животные исполнили «Твари Англии» и разошлись.

Позже Стукач обошел встревоженную скотину и навел порядок в умах. Никаких решений, запрещавших торговать и пользоваться деньгами, заверял он, никогда не только не принимали, но даже не ставили на голосование. Все это чистейшей воды выдумки, и если проследить, кто их выпускает, не исключено, что нити протянутся к Обвалу. Кое-кого из животных доводы Стукача все же не вполне убедили, но на них он прикрикнул: «Да вы что, товарищи, вам небось эти решения примерещились! У вас что, есть документы, их подтверждающие? Эти решения, они что, где-нибудь записаны?» И поскольку такие решения нигде не были записаны, животные поверили, что и впрямь ошиблись.

По понедельникам, согласно уговору, мистер Сопли навещался на Скотный Двор. У этого продувного низкорослого субъекта с баками, кое-как пробавлявшегося посредничеством, хватило смекалки раньше других сообразить, что Скотному Двору не обойтись без ходатая и что тут можно огрести нешуточные комиссионные. Животные его боялись и старались по возможности избегать. Тем не менее вид стоящего на четвереньках Наполеона, который давал указания стоящему на двух ногах Сопли, преисполнял их чувством законной гордости и пусть не до конца, но примирял с новыми порядками. Надо сказать, что отношения их с людским родом в последнее время переменились. Теперь, когда Скотный Двор процветал, люди не-

навидели его не только не меньше, но еще пуще прежнего. Все они без исключения свято верили, что Скотный Двор рано или поздно разорится, а уж строительство ветряной мельницы тем паче никогда не будет закончено. Они сходились в пивных, чертили какие-то графики, убеждая друг друга, что ветряная мельница непременно рухнет, а если и не рухнет, то во всяком случае не будет работать. И тем не менее животные уж очень ловко управлялись с хозяйством, а потому они волей-неволей испытывали к ним уважение. И вот доказательство: люди перестали называть Скотный Двор Господским Двором, а ведь прежде делали вид, что нового названия не существует. Перестали они также поддерживать Джонса, и тот понял, что Скотный Двор ему не вернуть, и подался в другие края. До сих пор Скотный Двор сносился с человеческим окружением исключительно через Сопли, однако ходили упорные слухи, что Наполеон предполагает заключить торговое соглашение то ли с мистером Калмингтоном из Плутней, то ли с мистером Питером из Склок, но, как было замечено, никогда с тем и другим одновременно.

Примерно в эту пору неожиданно для всех свиньи перебрались в хозяйский дом. И снова животные припомнили, что вроде бы было решение, запрещающее животным жить в хозяйском доме. И вновь Стукачу удалось убедить их, что они ошибаются. Свиньи, сказал он, думают за вас, поэтому им необходимо создать условия для работы. А вождя (последнее время он стал называть Наполеона вождем) положение просто обязывает жить в доме, а не в свинарнике. Тем не менее, когда животные прослышали, что свиньи не только едят в кухне и отдыхают в гостиной, но и спят на кроватях, кое-кто из них встревожился. Боец и на это сказал лишь: «Товарищ Наполеон всегда прав», зато Кашка, которая вроде бы припомнила, что было принято решение, запрещающее спать на кроватях, отправилась к торцу амбара и долго таранилась на семь заповедей. Однако составить из отдельных букв слова не сумела и сходилась за Моной.

— Мона,— попросила она,— прочти-ка мне четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать на кроватях, разве нет?

Мона с трудом разобрала по складам:

— «Животное да не спит в кровати *под простыня-*

ми», так там написано,— доложила она наконец.

И вот что любопытно: Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях, но раз так написано на стене, выходит, что говорилось. Стукач — а он очень кстати случился тут, и не один, а с парой-тройкой псов — представил дело в верном свете:

— Я так понимаю, товарищи, вы уже знаете, что мы, свиньи, стали спать в кроватях? А почему бы, спрашивается, и нет? Уж не считаете ли вы, что принималось решение, запрещающее спать в *кроватях*? Что такое кровать — всего-навсего место для спанья. И строго говоря, какая разница, где спать — на кровати или в стойле, на охапке соломы? На самом деле запрещалось спать на простынях, потому что их изобрели люди. Мы сняли с хозяйских кроватей простыни и заменили их одеялами. Кровати, кстати сказать, очень удобные. Но не слишком удобные, а в самую меру, именно такие, скажу я вам, товарищи, и требуются нам, при том, какой ответственной работой мы занимаемся. Неужели вы хотите лишить нас отдыха, товарищи? Неужели вы хотите, чтобы мы валились с ног от усталости? Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?

Животные заверили его, что ничего подобного у них и в мыслях не было, и разговоры о кроватях заглохли. И когда несколько дней спустя свиньи объявили, что будут вставать на час позже других, никто и не пикнул.

К осени животные подошли усталые, но довольные. Этот год дался им нелегко, часть сена и зерна пришлось продать, кормов на зиму было запасено негусто, зато ветряная мельница вознаграждала их за все. Строительство близилось к завершению. Урожай убрали, стояли ясные, погожие дни, животные трудились с небывалым подъемом — они были готовы таскать камни от зари дотемна, лишь бы стены ветряной мельницы стали хоть на полметра выше. Боец, тот даже ночью, урывая час-другой от сна, в одиночку таскал камень — благо перед осенним равноденствием было полнолуние. В редкие теперь минуты досуга животные гуляли вокруг недостроенной мельницы. Восхищались прочными ровными стенами, дивились сами себе: вот ведь какое величественное здание построили. Лишь старый Вениамин не разделял общего восторга, как водится, помалкивал и лишь изредка загадочно намекал: поживем, мол, увидим,

ослиный век, он долгий.

Наступил ноябрь. С юго-запада налетели буйные ветры. Строительство пришлось прекратить: из-за сырости цемент не застывал. В довершение всего однажды ночью поднялась такая сильная буря, что стены сараев сотрясались, а с амбарной крыши кое-где сорвало черепицу. Куры проснулись, в ужасе раскудахтались: им всем разом приснилось, что неподалеку пальнули из ружья. Когда поутру животные высыпали наружу, флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада был выдернут с корнем, как редиска. Но это было еще не все, и в отчаянии животные заголосили. Страшное зрелище открылось их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах.

Все как один они бросились к ней. Наполеон, хотя обычно он считал ниже своего достоинства бегать, во весь опор мчался впереди. Да, ветряная мельница, в которую они вложили столько труда, была разрушена до основания, камень, разбитый и привезенный ценой таких усилий, был разметан. Онемев, животные подавленно смотрели на груды камней. Наполеон молча расхаживал взад-вперед, изредка тыкался в землю пяточком — принюхивался. Хвост его раскрутился, он резко поводит им из стороны в сторону, что означало напряженную работу мысли. Внезапно он остановился как вкопанный: видимо, выработал наконец решение.

— Товарищи, — не повышая голоса, сказал он, — знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы, кто этот вредитель, который подкрался ночью и разрушил нашу мельницу? Обвал! — загремел он. — Обвал — вот кто ее разрушил! Кипя бешеной злобой, он задался предательской целью отбросить нас назад и отомстить за свое позорное изгнание; прокравшись под покровом темноты, этот предатель уничтожил плоды наших чуть не годовалых трудов. Товарищи, я не сходя с места приговариваю Обвала к смерти. Тот, кто приведет приговор в исполнение, будет награжден медалью «Герой Скотного Двора» Второй степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его живым, получит два ведра яблок.

Когда животные узнали о злодеяниях Обвала, их возмущению не было предела. Даже от него они не ожидали такой низости. Вне себя от гнева они, перекрикивая друг

друга, изыскивали способы изловить Обвала на случай, если ему вздумается вернуться. И чуть не сразу на выгоне, неподалеку от взгорка, обнаружили следы свиных копыт. Цепочка следов тянулась метров десять, не больше — следы, казалось, ведут к дыре в изгороди. Наполеон принялся к ним и объявил, что это следы Обвала. Не иначе как Обвал, предположил Наполеон, скрывается в Плутнях.

— Промедление смерти подобно! — сказал Наполеон, когда следы были изучены.— За работу, товарищи! Без проволочек, сегодня же мы примемся восстанавливать ветряную мельницу, будем строить всю зиму, невзирая на любые преграды. Пусть этот жалкий предатель знает, что ему нас не остановить! Помните, товарищи, ничто не помешает нам осуществить наши планы! Они будут выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница! Да здравствует Скотный Двор!

Глава VII

Зима выдалась суровая. Бури сменились слякотью, снегом, затем грянули морозы, вот уж и февраль на исходе, а они все еще не отступили. Животные не щадя сил трудились над восстановлением ветряной мельницы: ведь человеческое окружение не спускало с них глаз, и если они не построят ветряную мельницу к намеченному сроку, легко себе представить, какое ликование поднимется в стане злопыхателей-людей.

В пику животным люди притворялись, будто не верят, что ветряную мельницу разрушил Обвал; они утверждали, что нельзя было делать такие тонкие стены. Но животные знали, что не в этом суть. На всякий случай все же решили сделать стены не в сорок сантиметров, а в метр толщиной, ну а для этого, естественно, потребуется куда больше камня. Карьер долго стоял под снегом, и начать работы было невозможно. Затем пошли сухие морозные дни, и дело продвинулось, но работать было так тяжело, что они даже пали духом. Их постоянно мучил холод, а нередко и голод. Лишь Боец и Кашка не теряли бодрости. Стукач красноречиво доказывал им, что труд у них на ферме — дело чести и доблести. Но животных вдохновляли не его речи,

а пример не знающего усталости Бойца с его неизменным «Я буду работать еще упорнее!».

В январе стало не хватать кормов, выдачу зерна сильно урезали и скотине объявили, что взамен зерна выдадут побольше картошки. И тут обнаружилось, что почти весь урожай картошки замерз в буртах — их не прикрыли на зиму. Чуть не вся картошка почернела, потекла. Животным случалось по целым дням не есть ничего, кроме мякины и кормовой свеклы. Над фермой нависла угроза голода.

Никак нельзя было допустить, чтобы этот факт стал достоянием человеческого окружения. Раззадоренные неудачей с ветряной мельницей, люди стали с новой силой клеветать на Скотный Двор. Они опять вытащили на свет божий старые выдумки, будто животные подымают от голода и болезней, будто у них вечные междоусобицы и они докатились до пожирания себе подобных и детоубийства. Наполеон понимал: если люди проведуют, как у них плохо с кормами, еще неизвестно, к чему это приведет. И решил противодействовать, используя для этого мистера Сопли. До сих пор во время еженедельных визитов мистера Сопли на Скотный Двор животные держались от него на почтительном расстоянии, теперь же кое-кому из доверенных животных, по преимуществу овцам, велели, как бы невзначай приблизившись к мистеру Сопли, обронить, что пайки, мол, сильно увеличились. Мало того, Наполеон распорядился наполнить почти пустые сусеки в житнице до краев песком, а сверху присыпать песок остатками зерна и муки. Под удобным предлогом мистера Сопли провели по житнице так, чтобы он мог невзначай бросить взгляд на сусеки. Он проглотил наживку и доложил людям, что на Скотном Дворе с кормами полный порядок.

И все равно на исходе января стало ясно, что хочешь не хочешь, а зерно придется где-то добывать. Наполеон теперь редко выходил, он засел в хозяйском доме, который и с парадного, и с черного хода охраняли устрашающего вида псы. Редкие его выходы обставлялись в высшей степени торжественно: за ним неизменно следовала свита из шестерых псов, которые окружали его плотным кольцом и грозно рычали на каждого, кто осмеливался к нему приблизиться. Он и воскресные-то собрания перестал посещать, а наряды перепоручал распределять кому-нибудь из свиней,

чаще всего Стукачу.

И вот однажды на воскресном собрании Стукач объявил, что курам — а они только-только снова начали нестись — придется сдать яйца. Мистер Сопли предложил Наполеону заключить договор на поставку четырехсот яиц в неделю. Деньги, вырученные за яйца, пойдут на покупку зерна и муки, так они продержатся до лета, а там уж жить станет легче.

Куры подняли дикий крик. Их, правда, предупреждали, что от них может потребоваться такая жертва, но они не верили, что до этого дойдет. Они уже готовились высиживать цыплят: как-никак скоро весна, и, если у них заберут сейчас яйца, заявили они, это равносильно убийству. Впервые с тех пор, как прогнали Джонса, на Скотном Дворе случилось восстание, не восстание, но что-то вроде. Под предводительством трех молоденьких черных минорок куры решительно воспротивились приказам Наполеона. И как — взобравшись на балки, откладывали там яйца, те, естественно, падали и разбивались вдребезги. Наполеон подавил сопротивление молниеносно и беспощадно. Он распорядился лишить кур пайка и приказал казнить каждого, кто посмеет передать хоть одно зерно курице. Псы следили, чтобы приказ Наполеона не нарушался. Куры продержались пять дней, потом сдались и стали класть яйца где положено. Девять кур сдохли. Их схоронили в саду и объявили, что они умерли от кокцидиоза. Мистер Сопли ничего об этих событиях не узнал, ну а яйца доставлялись своевременно — и бакалейщик раз в неделю присылал за ними фургон.

Обвал меж тем не показывался. Поговаривали, что он прячется на соседней ферме, не то в Плутнях, не то в Склоках. Отношения Наполеона с соседями слегка улучшились. Дело в том, что на Скотном Дворе обнаружился штабель леса — его сложили здесь лет десять назад, когда расчищали буковую рощицу. Лес хорошо вылежался, и Сопли посоветовал Наполеону продать его. Оба, и мистер Калмингтон, и мистер Питер, зарились на бревна. Наполеон колебался, не знал, кого предпочесть. Было замечено: когда Наполеон намеревался заключить соглашение с мистером Питером, объявлялось, что Обвал прячется в Плутнях, если же Наполеон склонялся к союзу с Калмингтоном, говорилось, что Обвал скрывается в Склоках.

Ранней весной, как гром среди ясного неба, по ферме разнеслась весть. Оказывается, Обвал по ночам тайно проникал на ферму. Животные взбудоражились, по ночам ворочались без сна в стойлах. Рассказывали, что каждую ночь Обвал прокрадывается под покровом темноты и занимается вредительством. Крадет зерно, переворачивает подойники, давит яйца, топчет посевы, грызет кору на деревьях в саду. Какие бы неполадки ни случались на ферме, в них неизменно винули Обвала. Разбивалось ли окно, засорялась ли труба — обязательно кто-нибудь заявлял, что тут не обошлось без Обвала: не иначе как он приходил ночью, и когда пропал ключ от житницы, все были убеждены, что Обвал бросил его в колодец. И вот что любопытно: позже ключ отыскался под мешком муки, но животные по-прежнему приписывали пропажу Обвалу. Коровы дружно жаловались, что Обвал пробирается в коровник и доит их во сне. И про крыс, от которых этой зимой не стало житья, тоже говорили, что они в стоворе с Обвалом.

Наполеон постановил досконально расследовать деятельность Обвала. В сопровождении эскорта псов он обошел и тщательно осмотрел все службы, за ними чуть поодаль следовали остальные животные. Каждые несколько шагов Наполеон останавливался, прикинул к земле, искал следы Обвала — Наполеон говорил, что он их чует нюхом. Наполеон обнюхал во всех углах амбар, коровник, курятник, огород и чуть не везде находил следы Обвала. Он прикладывал пяточок к земле, раз-другой-третий глубоко втягивал воздух и наводящим ужас голосом возвещал: «Обвал! Он был здесь! Я чую его запах!» — и при слове «Обвал» псы рычали так, что кровь стыла в жилах, и скалили зубы.

Животные были запуганы до предела. Их не оставляло ощущение, что незримый Обвал всемогущ, что им проникнут самый воздух, что он грозит им неисчислимыми бедствиями. Вечером Стукач собрал животных и с убитым видом сказал, что должен сообщить им важное известие.

— Товарищи! — кричал Стукач, возбужденно приплясывая. — Нами обнаружено страшное преступление. Обвал продался Питеру из Склок, который и сейчас не оставил свои планы напасть на нас и захватить нашу ферму! Обвал будет у него проводником. Но за Обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, что Обвала побудили затеять смуту

тщеславие и жажда власти. Мы жестоко ошибались, товарищи. Знаете, в чем истинная причина? Обвал с самого начала вступил в сговор с Джонсом! Обвал всегда был тайным агентом Джонса. Доказательство тому — забытый им впопыхах документ, который мы только что обнаружили. Я считаю, товарищи, что это проливает свет на многие факты. Разве мы не видели, как Обвал добивался — к счастью, безуспешно — нашего разгрома в Бою под коровником?

Животные остолбенели. Перед таким злодейством померкло даже разрушение ветряной мельницы. И все же это никак не укладывалось ни у одного из них в голове. Им помнилось, во всяком случае вроде бы помнилось, что Обвал первый бросился на врага в Бою под коровником, что он сплывал и подбадривал их на каждом шагу и не отступил, даже когда Джонс всадил заряд дроби ему в спину. Поначалу они никак не могли взять в толк: если Обвал продался Джонсу, как это увязать с его храбрым поведением в бою? Даже Боец, а его редко посещали сомнения, и тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя копыта, прикрыл глаза и ценой невероятных усилий сформулировал наконец свои мысли.

— Не верю,— сказал он.— Обвал храбро дрался в Бою под коровником. Я видел это своими глазами. Разве мы не присвоили ему за этот бой звание Героя Скотного Двора Первой степени?

— Мы допустили ошибку, товарищ. Как стало известно из обнаруженных нами новых секретных документов, Обвал заманил нас в ловушку, чтобы обречь на гибель.

— Но его ранило,— сказал Боец.— Все видели, что он истекал кровью.

— Это было одним из условий их соглашения,— напирал Стукач.— Пуля Джонса только оцарапала Обвала. Я показал бы вам документ, если бы вы могли его прочесть, где Обвал черным по белому пишет об этом. Они с Джонсом уговорились, что в решающий момент Обвал подаст сигнал к отступлению и оставит поле боя врагу. И ведь этот план едва не осуществился, я даже скажу, товарищи, что он наверняка бы осуществился, если бы не наш доблестный вождь товарищ Наполеон. Разве вы не помните: в тот самый момент, когда Джонс со своими работниками про-

никли во двор, Обвал обратился в бегство и многих увлек за собой? Разве вы не помните: когда всех охватила паника и поражение казалось неминуемым, товарищ Наполеон с криком «Смерть человечеству!» бросился вперед и впился зубами Джонсу в ногу? Уж это-то, товарищи, вы не можете не помнить!

Теперь, когда Стукач так наглядно все описал, животным что-то такое припомнилось. Во всяком случае, им помнилось, что в решительный момент Обвал повернулся и бросился бежать. Бойца все же не оставляли сомнения.

— Я не верю, что Обвал с самого начала вступил на путь предательства, — подытожил он свои мысли. — Потом — другое дело, потом он мог на него скатиться. Но я верю, что в Бою под коровником он сражался с нами плечом к плечу.

— Наш вождь товарищ Наполеон, — отдельно и веско сказал Стукач, — решительно, повторяю, товарищи, решительно заявил, что Обвал проданся Джонсу с самого начала, да, да, еще задолго до восстания, когда мы и не помышляли о нем.

— Тогда другое дело, — сказал Боец. — Если так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть.

— Вот это правильный подход, товарищ, — выкрикнул Стукач, но было замечено, что его бегающие глазки со злобой впелись в Бойца. Он уже собрался было уходить, но в последний момент задержался. — Я предупреждаю, — внушительно добавил он, — что вы должны быть бдительными. Есть основания полагать, что агенты Обвала и сейчас рыщут среди нас!

А спустя четыре дня ближе к вечеру Наполеон велел животным собраться во дворе. Когда все сошлись, Наполеон при медалях (недавно он присвоил себе звание Героя Скотного Двора I степени и Героя Скотного Двора II степени), в сопровождении девяти здоровенных псов, которые вились вокруг него и рычали так, что у животных бегали по коже мурашки, вышел из хозяйского дома. Животные примолкли, сжались — будто предчувствуя, что надвигается нечто страшное.

Наполеон грозно обозрел собравшихся и пронзительно взвизгнул. Псы метнулись вперед, схватили четырех под-свинков за уши и, верещащих от боли и страха, приволокли

к ногам Наполеона. У подсвинков из порванных ушей капала кровь, от запаха крови псы словно взбесились. Трое из них бросились на Бойца, чем привели животных в полное недоумение. Но Боец не оплошал, он взлягнул ногой, поддел одного из псов на лету и здоровенным копытом пригвоздил к земле. Пес молил о пощаде, двое его товарищей, поджав хвосты, бежали. Боец взглядом спросил у Наполеона, что делать с псом — раздавить или отпустить. Наполеон, заметно изменившись в лице, строго приказал Бойцу отпустить пса, Боец приподнял копыто, и помятый пес с воем уполз.

Вскоре суматоха улеглась. Четверо подсвинков, трепеща, ожидали решения своей участи, весь их вид выражал глубокую вину, Наполеон призвал их признаться в своих преступлениях. Те самые подсвинки, которые возмутились, когда Наполеон отменил воскресные собрания, — кто же еще. Этого было достаточно, чтобы они тут же признали, что после изгнания Обвала вступили с ним в тайные сношения, помогли ему разрушить ветряную мельницу и вошли с ним в сговор с целью отдать Скотный Двор в руки мистера Питера. Обвал, добавили они, открыл им, что издавна состоял на службе у Джонса. После чего они замолчали, псы вмиг загрызли всех четверых, а Наполеон наводящим ужас голосом спросил, есть ли среди животных такие, которые чувствуют за собой вину.

Три курицы, зачинщицы яичного бунта, выступили вперед и заявили, что Обвал являлся им во сне и подстрекал их не подчиняться Наполеоновым приказам. Их тоже зарезали. Затем вперед вышел гусь и сознался, что, убирая в прошлом году урожай, утаил шесть колосков, а ночью их съел. Затем овца созналась, что помочилась в пруд, и сказала, что подбил ее на это опять же Обвал, а две другие овцы сознались, что угробили старого барана, особо преданного сторонника Наполеона: барана бил кашель, а они нарочно гоняли его вокруг костра. Их тоже прикончили прямо на месте. Признания чередовались с казнями. Вскоре у ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в воздухе сгустился запах крови, забытый животными с тех самых пор, как они прогнали Джонса.

Когда казни кончились, уцелевшие животные, за исключением свиней и собак, сбившись в кучу, побрели со двора.

Потерянные, раздавленные. Они не понимали, что их больше потрясло — предательство товарищей, вступивших в сговор с Обвалом, или суровое возмездие, которое настигло их. Прежде им тоже случалось быть свидетелями кровопролитий, и не менее жестоких, но теперь свои убивали своих, а это — и тут все были едины — куда хуже. С тех пор как они прогнали Джонса и вплоть до сегодняшнего дня, не было ни одного убийства. Крысы и той не убили. Они взобрались на взгорок и все как один легли у недостроенной мельницы, тесно прижавшись друг к другу, — их знобило: Кашка, Мона, Вениамин, коровы, овцы, вся птица — гуси и куры, все, кроме кошки. Она, перед тем как Наполеон велел собраться, куда-то запропастилась. Поначалу все молчали. Не лег один Боец. Он переминался с ноги на ногу, хлестал себя длинным черным хвостом по бокам, время от времени недоуменно ржал. И наконец подытожил свои мысли:

— Ничего не понимаю. Никогда бы не поверил, что такое может случиться на нашей ферме. Наверное, мы сами виноваты. Я вижу единственный выход — работать еще упорнее. Отныне я буду вставать не на три четверти часа, а на час раньше.

И грузно зарысил в каменоломню. А там набрал камня и до ночи отвез сначала одну, потом другую телегу к ветряной мельнице.

Животные сбились вокруг Кашки, но разговаривать не разговаривали. Со взгорка им открылись дали. Отсюда, как на ладони, была видна чуть не вся округа: выгон, тянувшийся к большаку, луг, рощица, пруд, куда они ходили на водопой, вспаханное поле, где зеленели густые всходы пшеницы, красные крыши служб, над трубами которых курился дымок. Стоял погожий весенний вечер. Лучи заходящего солнца золотили траву, на живых изгородях проклюнулись почки. Любовь к своей ферме — и тут они не без удивления вспомнили, что это же их ферма, она же отошла к ним! — нахлынула на них с небывалой силой. Кашка поглядела вниз, глаза ее заволкли слезами. Умей она выразить свои мысли, она бы сказала: разве к этому они стремились, когда много лет назад решили во что бы то ни стало свергнуть род людской? Разве кровавые казни виделись им в ту ночь, когда старый Главарь впервые призвал их к восста-

нию? Если ей тогда и рисовались картины будущего, она представляла его себе союзом скотины, где нет места голоду и угнетению, где все равны, где труд дело чести, где сильный ограждает слабого, как она оградила ногой отбившихся от матери утят в ту ночь, когда Главварь произнес свою речь. Но ничего этого нет, и наступило время — а почему, она не понимает, — когда никто не решается говорить в открытую, когда повсюду рыщут свирепые псы и когда твои товарищи сознаются в чудовищных преступлениях и их рвут на части на твоих глазах. У нее и в мыслях не было ни восстать, ни даже послушаться. Она понимала, что при всем при том им жвется не в пример лучше, чем во времена Джонса, и что главное сейчас — не допустить возвращения людей. Что бы ни случилось, она останется верной их делу, будет работать не щадя сил, выполнять все, что от нее потребуют, и идти по пути, намеченному Наполеоном. Все так, но разве об этом она и ее товарищи мечтали, разве для этого они трудились? Нет, не для этого они строили ветряную мельницу, не для этого, рискуя жизнью, шли под пули Джонса. Вот какие мысли одолевали Кашку, хоть она и не умела их выразить.

В конце концов, так и не найдя слов, она, чтобы дать выход охватившим ее чувствам, запела «Твари Англии». Животные дружно подхватили песню и пропели ее три раза кряду. Пели стройно, но протяжно и заунывно, никогда раньше они так не пели.

Только они спели песню в третий раз, как на взгорок в сопровождении двух псов поднялся Стукач, — судя по его виду, у него было важное известие. Стукач объявил, что особым указом товарища Наполеона «Твари Англии» отменяются. Отныне на их исполнение наложен запрет.

Животные оторопели.

— Почему? — не удержалась от вопроса Мона.

— Потому что эта песня отжила свое время, — многозначительно сказал Стукач. — «Твари Англии» звали к восстанию. Но восстание завершено. Последним его этапом была сегодняшняя казнь изменников. Мы сокрушили внутреннего и внешнего врага. «Твари Англии» выражали нашу мечту об обществе будущего, о лучшем обществе. Сейчас такое общество построено. И этой песне некуда нас звать.

Как животные ни были запуганы, наверняка нашлись бы

среди них и такие, которые возмутились бы, но овцы завели свое неизменное «Четыре ноги хорошо, две — плохо» и блеяли минут десять, так что какие уж тут дискуссии.

И «Твари Англии» больше никогда не пели. Вместо них поэт Последыш сочинил другую песню, начиналась она так:

Наш Скотный Двор, наш Скотный Двор,
Твоим врагам я дам отпор.

Ее пели каждое воскресенье после поднятия флага. Но животные считали, что и мотив, и слова ни в какое сравнение не идут с «Тварями Англии».

Глава VIII

А спустя несколько дней после казней, когда животные понемногу отошли от сковавшего их страха, кому-то вспомнилось, во всяком случае вроде бы вспомнилось, что шестая заповедь гласит: «Животное да не убьет другое животное!» Все чувствовали, что недавние убийства противоречат шестой заповеди, хоть и остерегались говорить об этом при свиньях и собаках. Кашка попросила Вениамина прочесть ей шестую заповедь. Она гласила: «Животное да не убьет другое животное *без причины*». Почему-то последние два слова изгладилась у животных из памяти. Зато они поняли, что шестую заповедь не преступили: ведь убили изменников, которые вошли в сговор с Обвалом, — это ли не причина, и вполне веская.

Последний год они работали еще упорней, чем предыдущий. Восстановить ветряную мельницу, вдобавок со стенами вдвое толще прежних, закончить ее к намеченному сроку, учитывая, что работы по хозяйству с них тоже никто не снимал, стоило невероятных усилий. Бывали времена, когда им казалось, что они работают дольше, а кормят их не лучше, чем при Джонсе. Поутру в воскресенье Стукач, придерживая длинную полоску бумаги ножкой, зачитывал им столбцы цифр, доказывавшие, что производство всех видов кормов возросло когда на двести, когда на триста, а когда и на пятьсот процентов. Причин не доверять Стукачу они не видели, особенно если учесть, что успели основательно забыть, как им жилось до восстания. Хотя при всем том

бывали дни, когда они предпочли бы, чтобы их кормили не цифрами, а чем-то более существенным.

Все указания теперь передавались через Стукача или через кого-нибудь еще из свиней. Сам Наполеон показывался не чаще чем раз в полмесяца. Когда же наконец он появлялся, мало того что позади него тянулась синяя свита, но еще и впереди на манер глашатая выступал черный петушок — он предварял Наполеоновы речи оглушительным «кукареку». Рассказывали, что в хозяйском доме Наполеон занимает отдельные покои. Ел он тоже один, за едой ему прислуживали двое псов, и ел он на фарфоровом сервизе, который при Джонсе вынимался из горки в гостиной лишь в торжественных случаях. Было также объявлено, что ружейным залпом помимо двух других дат будет отмечаться и день рождения Наполеона.

Наполеона теперь называли не просто Наполеоном, а лишь сугубо официально — нашим вождем товарищем Наполеоном, и свиньи старались перещеголять одна другую, изобретая для него все новые титулы: Отец Животных Всего Мира, Гроза Рода Человеческого, Мудрый Пастырь, Лучший Друг Утят и тому подобные. Стукач произносил речи о Наполеоновой мудрости, доброте ко всем животным и особенно к угнетенным животным соседних ферм, прозябавшим в невежестве и рабстве. Стало привычным любое достижение, любую удачу приписывать Наполеону. Нередко можно было услышать, как одна курица говорит другой: «Под водительством товарища Наполеона мне удалось снести пять яиц за шесть дней» или как две коровы на водоопе восхищаются: «До чего же вкусная сегодня вода, и все благодаря мудрому руководству нашего вождя товарища Наполеона». Лучшее всего чувства скотины выразило стихотворение Последыша под названием «Товарищ Наполеон»; вот оно:

Осиротелых отец!
Радости нашей кузнец!
Хозяин помойных ведер!
Как солнце на небосклон
Взошел ты! Я видеть рад
Спокойный твой, твердый взгляд,
Не ведаешь ты преград,
Товарищ Наполеон!

Руководитель наш,
Нам все, что мы любим, дашь,
Корм — дважды набить живот, подстилку, чтоб слаще сон;
Вся тварь в хлеву улеглась,
Один ты в полночный час
Не спишь, заботясь о нас,
Товарищ Наполеон!

Пускай поросенок мой
С поллитру всего собой,
И все же обязан он
Отнюдь не отца, не мать
А лишь тебя почитать.
И преданно пропищать:
«Товарищ Наполеон!»

Наполеон стихотворение одобрил и велел начертать его на другом торце большого амбара, напротив семи заповедей. Венчал стихотворение портрет Наполеона в профиль работы Стукача, выполненный белой краской.

Тем временем при посредстве мистера Сопли Наполеон затеял запутанные переговоры с Питером и Калмингтоном. Лес все еще не был продан. Из двоих сильнее зарился на штабель Питер, но при этом настоящей цены не давал. И опять пошли слухи, что Питер со своими работниками готовится напасть на Скотный Двор, разрушить ветряную мельницу, которая вызывала у него бешеную зависть. Передавали, что Обвал по-прежнему скрывается в Склоках. В разгар лета стало известно: три курицы добровольно признались, что Обвал подбил их устроить заговор с целью убить Наполеона,— животных это сообщение очень встревожило. Кур тут же казнили и приняли дополнительные меры, обеспечивающие безопасность Наполеона. Теперь его кровать по ночам охраняли четыре пса, по псу на каждый угол, а поросенку по имени Буркало поручили, чтобы Наполеона не отравили, отведывать его еду.

Приблизительно в эту же пору стало известно, что Наполеон договорился продать лес мистеру Калмингтону, а также учредить постоянный обмен некоторыми товарами между Скотным Двором и Плутнями. Отношения между Наполеоном и Калмингтоном, хоть они и велись исключительно через Сопли, стали чуть ли не дружественными. У животных

Калмингтон, как и люди вообще, доверия не вызывал, но они предпочитали его Питеру, которого ненавидели и боялись. Чем ближе было к завершению строительство ветряной мельницы, а его предполагали закончить к осени, тем упорнее становились слухи о том, что Питер готовит вероломное нападение. Поговаривали, что Питер собирается послать на Скотный Двор двадцать работников, вооруженных ружьями, что он подкупил власти и полицию, и если он прикарманит купчую крепость на Скотный Двор, они пальцем не пошевельнут. Мало того, по сведениям, просачивавшимся из Склок, Питер зверски измывался над своей скотиной. Он забил насмерть старую клячу, морил голодом коров, кинул в топку пса, а по вечерам стравливал петухов и не просто стравливал, а еще привязывал им к шпорам обломки бритвенных лезвий — так он развлекался. У животных кипела кровь, когда они слышали, как терзают их товарищей, и они рвались — пусть только им разрешат — пойти в поход на Склоки, выгнать оттуда людей и дать тамошним животным волю. Но Стукач советовал набраться терпения и лечь на прозорливость товарища Наполеона.

Тем не менее во всех клокотал гнев на Питера. И однажды в воскресенье Наполеон пришел в амбар и объяснил скотине, что никогда не собирался продавать лес Питеру: иметь дело с подобным мерзавцем значило бы уронить себя. Голубям, которых по-прежнему рассылали призывать животных соседних ферм к восстанию, велели облетать Плутни стороной, а лозунг «Смерть человечеству!» заменить на лозунг «Смерть Питеру!». На исходе лета было раскрыто еще одно злодеяние Обвала. Пшеница густо заросла сорняками — и что же вышло на проверку: оказывается, Обвал, проникавший по ночам на ферму, подмешал к семенам пшеницы семена сорняков. Молодой гусак, посвященный в этот заговор, пришел с повинной к Стукачу и тут же покончил жизнь самоубийством, наглотавшись ягод красавки. Животных также уведомили, что Обвал никогда — и откуда только они это взяли? — не получал Героя Скотного Двора I степени. Это всего-навсего легенда, которую распространил вскоре после Боя под коровником сам Обвал. Его не только не наградили, а еще и сурово наказали за проявленную в бою трусость. И опять же нашлись животные, которых это сообщение привело в некоторое замешательство. Но Стукач

быстро внушил им, что их просто-напросто подводит память.

Осенью ценой невероятного, непосильного труда — ведь почти в то же время проходила уборка урожая — ветряная мельница была построена. Предстояло еще установить оборудование, и Сопли уже вел переговоры о его покупке, но само строительство было завершено. Невзирая на все трудности, несмотря на отсутствие опыта и техники, на преследующие их неудачи, на вредительство Обвала, они закончили работу в намеченный срок — день в день! Усталые, но гордые животные ходили вокруг мельницы, и она казалась им еще более прекрасной, чем тогда, когда они возвели ее впервые. Не говоря уж о том, что стены мельницы на этот раз были вдвое толще. Теперь без взрывчатки их не разрушить! И когда они думали, сколько трудов они положили, причем не падали духом, хоть и было отчего, а также о том, как изменится их жизнь, когда замашут крылья мельницы и заработает генератор, так вот, когда они думали обо всем этом, они забывали об усталости и с ликующими криками пускались в пляс вокруг ветряной мельницы. Даже Наполеон и тот в сопровождении псов и Стукача явился осмотреть мельницу, лично поздравил скотину с успешным завершением строительства и объявил, что мельнице будет присвоено его имя.

А спустя два дня животных созвали в амбар на внеочередное собрание. Они не поверили ушам, когда Наполеон объявил, что продал лес Питеру. Завтра Питер пришлет фургоны и начнет перевозить лес. Оказывается, пока Наполеон для виду дружил с Калмингтоном, он вел тайные переговоры с Питером.

Отношения с Плутнями были прерваны, Калмингтону послали оскорбительную ноту. Голубям запретили садиться в Склоках, лозунг «Смерть Питеру!» отменили и велели провозглашать «Смерть Калмингтону!». Далее Наполеон заверил животных, что слухи о готовящемся нападении на Скотный Двор не имеют под собой почвы и что Питер далеко не так жестоко обращается со своей скотиной, как о том рассказывают. Эти слухи скорее всего распускает Обвал и его подручные. Выяснилось, что Обвал не только никогда не прятался в Склоках, но и вообще там не был; он живет, и как говорят припеваючи, в Плутнях: ведь он дав-

ным-давно проданся Калмингтону.

Свиньи восхваляли до небес Наполеонову мудрость. Заведя для виду дружбу с Калмингтоном, он вынудил Питера дать за лес на двенадцать фунтов больше. Но непревзойденная прозорливость Наполеона, сказал Стукач, проявилась в том, что он не доверяет никому, даже Питеру. Питер хотел заплатить за лес чеком, ну а чек ведь всего лишь бумажка, пусть на ней и стоит обязательство заплатить. Но Наполеона не провести, он потребовал, чтобы Питер заплатил не каким-то чеком, а купюрами по пять фунтов и не после того, как бревна увезут, а до. Кстати, Питер уже выложил денежки, их вполне хватит на оборудование для ветряной мельницы.

Меж тем лес спешно увозили. Когда на дворе не осталось ни одного бревна, животных созвали в амбар на внеочередное собрание и показали им полученные от Питера купюры. Наполеон при обеих медалях возлежал на раскиданной по помосту соломе, милостиво улыбаясь, а рядом с ним, на фарфоровом блюде с хозяйской кухни, помещалась аккуратная пачечка денег. Животные гуськом тянулись мимо, и каждый мог удовлетворить свое любопытство. Боец понюхал купюры — от его дыхания тоненькие белесые листочки зашевелились, зашуршали.

А три дня спустя поднялся чудовищный тарарам. Бледный как смерть Сопли примчался на велосипеде, бросил его во дворе и опрометью кинулся в хозяйский дом. И чуть не тут же из Наполеоновых покоев донесся приглушенный вопль ярости. Новости, как лесной пожар, распространились по Скотному Двору. Купюры оказались фальшивыми! Питер получил бревна задаром!

Наполеон тут же созвал животных и леденящим кровью голосом провозгласил смертный приговор Питеру. Когда мы поймаем Питера, сказал он, мы сварим его живьем. И сразу предупредил, что после такого вероломства надо готовиться к худшему. Не сегодня завтра Питер и его работники осуществят нападение на Скотный Двор, которого они давно ожидали. На подходе к Скотному Двору выставили часовых. Помимо того, в Плутни отправили четырех голубей с миролюбивым посланием, надеясь таким образом восстановить добрые отношения с Калмингтоном.

Но на следующее же утро Питер напал на Скотный Двор. Животные собрались завтракать, когда примчались дозор-

ные и сообщили, что Питер и его приспешники миновали тесовые ворота и идут к Скотному Двору. Животные не оробели, выступили им навстречу, но на этот раз победа далась им нелегко, не то что в Бою под коровником. На них шли полтора десятка человек, вооруженных полдюжиной ружей; приблизившись на полсотни метров, они открыли огонь. Оглушительные залпы, жгучий град дроби — такого животные не ожидали, и, как ни подбадривали их Наполеон и Боец, они отступили. Многие были уже ранены. Попрятавшись по сараям, они осторожно выглядывали оттуда сквозь щели и дыры в досках. Весь длинный выгон вместе с ветряной мельницей отошел в руки захватчиков. Даже сам Наполеон, похоже, растерялся. Он молча расхаживал взад-вперед, поводя из стороны в сторону раскрутившимся хвостом. Время от времени его глаза с тоской устремлялись на Плутни. Приди Калмингтон со своими людьми им на помощь, они бы еще смогли отбросить захватчиков. Но тут вернулись четверо голубей, посланных накануне к Калмингтону. Один из них держал в клюве клочок бумаги. На нем рукой Калмингтона было написано: «Так тебе и надо».

А Питер и его работники меж тем уже подступали к ветряной мельнице. Животные не спускали с них глаз. Ропот ужаса пробежал по рядам. Двое работников притащили лом и кувалду. Они собирались разрушить мельницу.

— Не бывать этому,— крикнул Наполеон.— У нашей мельницы такие толстые стены, что им с ней не совладать. Ее и за неделю не снести. Мужайтесь, товарищи!

Но Вениамин пристально следил за работниками. Двое с кувалдой и ломом пробивали дыру прямо над основанием мельницы. Вениамин лениво помахивал длинной мордой — можно подумать, его забавлял такой поворот событий.

— Именно этого я и ожидал,— сказал он.— Знаете, что сейчас будет? Они засыпят дыру порохом.

Животные замерли в испуге. Теперь-то они и подавно не решились бы выйти из укрытий. Через несколько минут работники разбежались. Раздался оглушительный взрыв. Голуби взмыли в воздух, остальные животные, за исключением Наполеона, пали ничком и зарыли морды в землю. Когда они поднялись, над взгорком стояло облако черного дыма. Постепенно ветерок разогнал его. Мельница исчезла!

И тут к животным вернулось мужество. Гнусное злодей-

ство вызвало у них такой приступ ярости, что они побороли страх и отчаянность. Жажда мести обуяла животных, и, не дожидаясь приказаний, они с криками дружно бросились на врага. На этот раз жгучий град дроби не обратил их вспять. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Люди безостановочно падали из ружей, а когда животные приблизились, принялись охаживать их дубинками и коваными сапогами. Корова, три овцы и два гуся были убиты наповал, едва ли не все остальные получили ранения. Даже у Наполеона, хоть он и руководил боем из тыла, дробиной срезало кончик хвоста. Но и людям тоже здорово досталось. Троиш проломил копытом голову Боец, четвертому вспорола рогом живот корова, с пятого чуть не сорвали штаны Роза и Ромашка. А когда девять псов из личной охраны Наполеона, которым он приказал обойти людей с фланга, со свирепым лаем бросились на них, людей охватила паника. Они поняли — им грозит окружение. Питер кричал, чтобы они отступили, пока кольцо не сомкнулось, и вот уже трусливый враг удирал во весь опор. Животные гнали его до самой границы и пинали и тогда, когда люди уже продирались сквозь терновую изгородь.

Победа осталась за животными, но они валились от усталости, из ран их текла кровь. Кое-как доковыляли они до Скотного Двора. Вид трупов дорогих сердцу товарищей, разбросанных там и сям по полю, вызвал у многих слезы на глазах. На месте, где недавно высилась ветряная мельница, они постояли в скорбном молчании. Да, от мельницы не осталось и следа, все труды пошли насмарку! Даже основание и то было почти разрушено. Когда восстанавливали мельницу в прошлый раз, они хотя бы могли вновь использовать камень, а теперь и этого нет. Теперь никаких камней поблизости не было. Взрыв разбросал их далеко-далеко, на сотни метров. Можно было подумать, что мельницы никогда не было и в помине.

Уже на подходе к Скотному Двору к ним, крутя хвостиком, подскочил расслаившийся Стукач, который почему-то воздержался от участия в бою. И тут же в саду грянул залп — интересно, что сегодня за торжество.

— В честь чего пальба? — спросил Боец.

— В честь нашей победы, — выкрикнул Стукач.

— Какой победы? — спросил Боец.

Колени у него были ободраны, в задней ноге застрял заряд дроби, он потерял подкову, повредил копыто.

— Какой победы, товарищ? Да разве мы не освободили нашу землю, священную землю Скотного Двора от захватчиков?

— Но они разрушили ветряную мельницу, а мы целых два года строили ее!

— Ну и что? Построим другую. Построим хоть десять мельниц, стоит нам только захотеть. А ты, товарищ, похоже, не понимаешь, какой подвиг мы совершили. Ведь враг захватил эту землю, ту самую землю, на которой мы с тобой стоим. А мы благодаря мудрому водительству товарища Наполеона завоевали ее пядь за пядью.

— Это что же получается — мы завоевали свою же землю? — спросил Боец.

— В этом и есть наша победа,— сказал Стукач.

Они кое-как доковыляли до фермы. Застрявшие под шкурой дробины жгли огнем ногу Бойца. Он понимал, сколько трудов потребуются, чтобы восстановить ветряную мельницу — ведь она была разрушена до основания,— и в душе уже готовился к выполнению этой задачи. Но тут он в первый раз осознал, что ему стукнуло одиннадцать и что силы у него уже не те.

Но реющий на флагштоке зеленый флаг, залпы — в тот день дали семь залпов,— а также речь Наполеона, в которой он благодарил животных за проявленное в бою мужество, заставили их поверить, что они и впрямь одержали великую победу. Животных, павших в бою, погребли с почестями. Переделанные из телеги дроги везли Боец и Кашка, а во главе похоронной процессии шел лично сам Наполеон. Два дня никто не работал, все праздновали. Песни чередовались с речами и залпами, все получили подарки: животные по яблоку, птицы по шестьдесят граммов зерна, псы по три галеты. Было объявлено, что бой получит название Бой под ветряной мельницей и что Наполеон учредил новый знак — «Орден зеленого знамени», которым наградил себя. В общем ликования не задача с фальшивыми купюрами забылась.

А несколько дней спустя свиньи наткнулись в хозяйском погребе на ящик виски. Они не заметили его, когда переселялись. В тот же вечер из хозяйского дома донеслось громкое пение, в котором животные, к своему изумлению, раз-

личали обрывки «Тварей Англии». А примерно в половине десятого, еще засветло, Наполеон в старом котелке мистера Джонса вышел с черного хода, галопом обскакал двор и снова скрылся в доме. Но поутру хозяйский дом окутала тишина. Свиней не было ни видно, ни слышно. Наконец около девяти показался Стукач. Поникший, с мутными глазами, с повисшим хвостом, он еле волочил ноги — судя по его виду, он серьезно захворал. Стукач созвал животных и сказал, что должен сообщить им ужасное известие. Товарищ Наполеон при смерти!

Вне себя от горя животные заголосили. У входа в хозяйский дом настелили солому, ходили исключительно на цыпочках. Со слезами на глазах животные спрашивали друг друга, что с ними будет, если вождя не станет. Пошел слух, будто Обвал все-таки ухитрился подсыпать яд Наполеону в еду. В одиннадцать часов Стукач вышел и сделал новое сообщение. Товарищ Наполеон издал официальный указ, запрещающий под страхом смертной казни пить спиртное, — такова его последняя воля.

Однако к вечеру Наполеону стало несколько лучше, и уже на следующее утро Стукач сообщил, что здоровье вождя не внушает опасений. К вечеру Наполеон сел за работу, а на следующий день выяснилось, что он поручил Сопли купить в Уиллингдоне пособия по пивоваренному и винокуренному делу. А неделю спустя Наполеон приказал вспахать загончик за садом, который прежде намеревались отвести под пастбище для ушедшей на пенсию скотины. Животным объяснили, что загон вытопан и нужен пересев; но вскоре обнаружилось, что Наполеон собирается посеять там ячмень.

Примерно в это время произошел загадочный случай, который озадачил чуть ли не всех. Однажды вечером около полуночи раздался грохот — животные, побросав стойла, выскочили во двор. Ярко светила луна, у торца большого амбара, там, где были начертаны семь заповедей, лежала сломанная пополам лестница. Около нее растянулся потерявший сознание Стукач, рядом с ним валялись фонарь и перевернутая банка с белой краской. Псы мигом обступили Стукача и, едва он поднялся на ноги, отвели в хозяйский дом. Кроме даже отдаленно не мог объяснить, что бы это значило, кроме старого Вениамина, — тот с премудрым видом мотал

головой, но помалкивал.

А несколько дней спустя Мона, перечитав про себя семь заповедей, заметила, что они, оказывается, еще одну заповедь запомнили неправильно. Они думали, что пятая заповедь гласит: «Животное да не пьет спиртного», но там, оказывается, были еще два слова, а их-то они и запомнили. На самом деле заповедь читалась так: «Животное да не пьет спиртного *до бесчувствия*».

Глава IX

У Бойца все не заживало поврежденное копыто. Меж тем, только отпраздновав победу, тут же приступили к восстановлению ветряной мельницы. Боец не давал себе передышки, он считал делом чести не показывать, как ему плохо. И все же по вечерам он жаловался Кашке, что копыто беспокоит его. Кашка пользовала его припарками, траву для которых жевала сама, и они на пару с Вениамином умоляли Бойца поберечь себя.

— Лошадиные легкие слабые,— говорили они.

Но Боец их не слушал. Теперь, сказал Боец, он хочет лишь одного — увидеть ветряную мельницу практически законченной, прежде чем уйдет на покой.

Сразу после восстания, когда создавались законы, для лошадей установили пенсионный возраст двенадцать лет, для коров — четырнадцать, для собак — девять, для овец — семь, для кур и гусей — пять. На пенсионное содержание решили не скупиться. Пока еще никто на покой не ушел, но в последнее время пенсии обсуждались все чаще и чаще. Теперь, когда загончик за садом отвели под ячмень, ходили слухи, что престарелым животным отгородят часть длинного выгона, где они будут пастись в свое удовольствие. Говорили, что лошадям положат пенсию два килограмма зерна в день летом и семь килограммов сена зимой, ну а по праздникам добавят еще и морковку, а то и яблоко. Бойцу должно было исполниться в следующем году двенадцать лет.

Жилось им меж тем трудно. Зима выдалась такая же холодная, как и в прошлом году, а нехватка кормов ощущалась еще острее. Всем, кроме свиней и псов, опять урезали

пайки. Уравниловка при распределении кормов, объяснил Стукач, противоречила бы духу скотизма. Как бы там ни было, Стукач без особого труда доказал животным, что нехватка кормов лишь плод их воображения, на самом же деле кормят их до отвала. Он не отрицает, что из-за временных трудностей возникла необходимость пересмотреть пайки (Стукач никогда не говорил «урезать», только «пересмотреть»), но при Джонсе им жилось куда хуже. Скороговоркой зачитывая цифры срывающимся на визг голосом, Стукач обстоятельно доказывал, что они получают больше овса, больше сена, больше репы, чем при Джонсе, а работа у них легче, вода лучше качеством, жизнь дольше, детская смертность меньше, соломенные подстилки мягче, блохи их донимают реже. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, о Джонсе и всем с ним связанном у них сохранились лишь самые смутные воспоминания. Они знали, что жизнь ведут нищую и суровую, часто недоедают и мерзнут и, когда не спят, всегда работают. Но прежде им, наверное, жилось еще хуже. Они охотно этому верили. Кроме того, тогда они были рабами, теперь они свободны, а это самое главное, не упускал случая напомнить им Стукач.

Едоков на ферме прибыло. Осенью четыре свиноматки разом опоросились и принесли тридцать одного поросенка. Поросята родились пестрые, и так как, кроме Наполеона, хряков на ферме не было, догадаться, кто их отец, не составило труда. Было объявлено, что вскоре купят кирпич и лес и в саду построят школу. А пока Наполеон лично обучал поросят на кухне хозяйского дома. На прогулку поросят выводили в сад и строго запретили им якшаться с прочей мелюзгой. Примерно тогда же положили правилом: любое животное, которое сталкивается на дороге со свиньей, должно посторониться; кроме того, всем свиньям, независимо от ранга, было разрешено повязывать на хвосты по воскресеньям зеленые ленты.

Год был довольно удачный, но денег по-прежнему не хватало. Предстояло покупать кирпич, песок, известь для школы, к тому же надо было копить деньги на оборудование для ветряной мельницы. А там чего только не понадобится: и керосин, и свечи для дома, и сахар к столу Наполеона (остальным свиньям Наполеон запретил есть сахар на том основании, что они от него толстеют), вдобавок у них под-

ходили к концу запасы инструмента, гвоздей, веревок, угля, проволоки, кровельного железа и собачьих галет. Был продан стог сена, часть урожая картошки и заключен договор на поставку уже не четырех, а шести сотен яиц в неделю, и поголовье кур едва не уменьшилось, так мало они высидели цыплят. Пайки, урезанные в декабре, в феврале урезали снова и, чтобы не расходовать керосин, запретили жечь в стойлах фонари. Но свиньи жили припеваючи и даже тучнели. Однажды днем на исходе февраля над двором поплыл теплый, густой, аппетитный запах — такого запаха животные в жизни не нюхивали. Он шел из заброшенной еще при Джонсе пивоварни за кухней. «Ячмень варится», — догадался кто-то. Животные жадно втягивали воздух и гадали, не попотчуют ли их на ужин теплой дробинкой. Но никакой дробины им не дали, а в следующее воскресенье было объявлено, что отныне весь ячмень пойдет исключительно свиньям. Загончик за садом уже засеяли ячменем. Вскоре просочилось известие, что свиньи теперь получают по поллитра пива в день, а сам Наполеон по два литра, и подают ему пиво в супнице из парадного сервиза.

И хотя трудностей хватало, они отчасти искупались тем, что жизнь животных приобрела несвойственный ей до сих пор возвышенный характер. Никогда они столько не пели, не слушали речей, не ходили на демонстрации. Наполеон приказал раз в неделю устраивать стихийную, как он ее называл, демонстрацию, чтобы отмечать исторические вехи на пути Скотного Двора. В назначенное время животные бросали работу и походным строем, печатая шаг, обходили ферму; возглавляли шествие свиньи, за ними шли лошади, коровы, овцы, замыкали шествие куры и утки. Собаки шли по флангам, а впереди выступал Наполеонов черный петух. Боец и Кашка на пару несли зеленое знамя с изображением рога и копыта и девизом «Да здравствует товарищ Наполеон!». Завершалось шествие чтением посвященных Наполеону стихов и речью Стукача, в которой тот подробно докладывал, как увеличилось за последнее время производство кормов, а в торжественных случаях давался залп из пушки. Особенно полюбили стихийные демонстрации овцы, и если кто жаловался (а такое порой случалось, когда свиней и псов не было поблизости), что на демонстрациях они только попусту тратят время и мерзнут, овцы тут же заводили

свое «Четыре ноги хорошо, две — плохо», причем бляели так громко, что заглушали всякий ропот. Но в общем-то животные радовались торжествам. Они напоминали им, что как бы там ни было, а над ними нет хозяев и работают они на себя, а это их утешало. Словом, песни, шествия, длинные списки цифр, зачитываемые Стукачом, грохот залпов, кукареканье петушка, полощущийся на ветру флаг помогали им забыть, хотя бы ненадолго, что в животах у них пусто.

В апреле Скотный Двор был провозглашен республикой, а раз так, полагалось выбрать президента. Кандидат на пост президента был всего один — Наполеон, и его избрали единогласно. В этот же день поступило сообщение, что обнаружены новые документы, в которых содержатся еще неизвестные факты о сотрудничестве Обвала с Джонсом. Обвал, оказывается, не только хотел обречь их на поражение в Бою под коровником при помощи хитроумного маневра, как они считали раньше, но открыто сражался на стороне Джонса. На самом деле возглавил людей не кто иной, как Обвал, это он бросился в бой с криком: «Да здравствует человечество!» А раны на его спине — среди животных оставались и такие, хоть их было немного, кто еще помнил, что видел эти раны собственными глазами,— не что иное, как следы зубов Наполеона.

В разгар лета на ферму после долгого отсутствия неожиданно возвратился ворон Моисей. Он ничуть не изменился, по-прежнему бездельничал и рассказывал те же байки о крае, где текут молочные реки с кисельными берегами. Он вспархивал на пень, хлопал черными крыльями и говорил часами, было бы кому слушать.

— Вон там, товарищи,— вещал он, уставив в небо длинный клюв,— там вон, за той черной тучей, текут молочные реки с кисельными берегами, там тот счастливый край, где нас, бедных животных, ждет вечное отдохновение от трудов.

Более того, он даже утверждал, будто как-то раз взлетел повыше и сам побывал в том краю, видал вечнозеленые клеверища и изгороди, на которых растут льняной жмых и кусковой сахар. Многие животные верили ему. Живут они впроголодь, рассуждали они, работают от зари дотемна, а раз так, должен же где-то существовать лучший мир — это было бы только справедливо. А вот чего они никак не понимали — это отношения свиней к Моисею. Они отмахива-

вались от его рассказов о молочных реках с кисельными берегами, называли их небылицами, но, хотя Моисей бездельничал, со Скотного Двора его не гнали и положили ему в день по стакашку пива.

Копыто у Бойца наконец поджило, и он стал работать еще упорнее. Да и все животные работали как каторжные. Мало того что им приходилось вести хозяйство и восстанавливать ветряную мельницу, вдобавок к этому надо было строить и школу для поросят, которую заложили в марте. Порой работать подолгу на пустой желудок было невмоготу, но Боец не делал себе поблажек. Если послушать его да посмотреть, как он ворочает, никто не сказал бы, что силы у него уже не те. А вот с виду он сдал — шкура у него не так лоснилась, крутые бока, похоже, спали. Все говорили: «Вот выйдет трава, и Боец еще поправится», но весна пришла, а Боец как был, так и остался тощим. Порой, когда он с громадным напряжением тащил камень из карьера вверх по откосу, казалось, одна сила воли держит его на ногах. Лишь по губам — голос у него пропал — можно было прочесть, что он твердит: «Я буду работать еще упорнее». Кашка и Вениамин снова и снова упрашивали его пощадить себя, но Боец пропускал их слова мимо ушей. Близился его двенадцатый день рождения. Его заботило одно: как бы запастись побольше камня перед выходом на пенсию, а там будь что будет.

Однажды летом уже поздним вечером по ферме пронесся слух, что с Бойцом случилась беда. Он, как всегда, пошел таскать в одиночку камни на ветряную мельницу. И точно: слух оправдался. Минуту-другую спустя принеслись двое голубей.

— Боец упал! Завалился на бок и не может подняться, — сообщили они.

Чуть не все животные кинулись к взгорку. У ветряной мельницы, зажатый оглоблями, вытянув шею, лежал Боец — при их виде он даже не поднял головы. Глаза у него остекленели, бока были белые от мыла. Изо рта тонкой струйкой сочилась кровь. Кашка опустила около него на колени.

— Боец, — позвала она его. — Что с тобой?

— Легкие отказали, — сказал Боец пресекающимся голосом. — Но не беда, я надеюсь, вы закончите мельницу и без меня. Камня запасено достаточно. Все равно мне один ме-

сяц до пенсии. По правде говоря, я очень ждал пенсии. А вдруг и Вениамина — он ведь тоже успел состариться — отпустят на покой: вместе нам было бы веселее.

— Нам понадобится помощь, — сказала Кашка, — пусть кто-нибудь сбегает расскажет Стукачу, какая у нас беда.

Животные со всех ног бросились к хозяйскому дому оповестить Стукача. При Бойце остались только Кашка и Вениамин — он лег рядом с Бойцом и молча отгонял от него мух длинным хвостом. Спустя четверть часа появился Стукач — воплощенные сочувствие и заботливость. Он сказал, что товарищ Наполеон с чувством глубокой скорби узнал о несчастье, постигшем одного из самых верных тружеников Скотного Двора. Сейчас он договаривается отправить Бойца на лечение в Уиллингдонскую больницу. Животными овладело смутное беспокойство: до сих пор никто из них, кроме Молли и Обвала, не покидал Скотного Двора, и им не хотелось, чтобы их больной товарищ попал в руки к людям. Тем не менее Стукач в два счета убедил их, что лучше лечиться у ветеринарного врача в Уиллингдоне, чем домашними средствами на ферме. И полчаса спустя, когда Бойцу полегчало, его с большим трудом подняли на ноги, и он доковылял до своего денника, куда Кашка и Вениамин загодя натащили побольше соломы.

Два дня Боец не выходил из денника. Свины послали ему большую бутылку розового снадобья, которую извлекли из аптечки в ванной, и Кашка поила им Бойца два раза в день после еды. Вечерами она укладывалась рядом в деннике и вела с ним беседы, а Вениамин отгонял хвостом мух. Он ничуть не жалеет, уверял Боец, что так получилось. Если его хорошо подлечат, он вполне может прожить еще три года, а ему бы очень хотелось попасть в свое удовольствие на огороженном от длинного выгона пастбище. Наконец-то он сможет учиться, повышать свой культурный уровень — ведь раньше у него на это не было времени. Остаток жизни, сказал Боец, он посвятит изучению остальных двадцати девяти букв алфавита.

Вениамин и Кашка могли дежурить около Бойца только после работы, а фургон приехал за ним среди дня. Животные были в поле, пропалывали репу под надзором свины; когда они увидели, что к ним со всех ног, истошно крича, несется Вениамин, удивлению их не было предела. Никог-

да прежде им не доводилось видеть его в таком возбуждении, кстати, чтобы он мчался, тоже никому не доводилось видеть.

— Быстрее, быстрее,— надрывался он.— Идите сюда! Они увозят Бойца!

Даже не отпросившись у свиньи, животные бросили прополку и побежали к Скотному Двору. И точно, во дворе стоял закрытый фургон, запряженный двумя лошадьми, с надписью крупными буквами на боковой стенке; на козлах фургона восседал продувного вида малый в котелке. Бойца в деннике не было.

Животные обступили фургон.

— До свиданья, Боец! — хором кричали они.— До свиданья!

— Дурачье, дурачье,— надрывался Вениамин, он метался вокруг них, топоча копытцами.— Дурачье! Разве вы не видите, что написано на фургоне?

Животные пришли в замешательство, наступила тишина. Мона принялась разбирать по складам надпись. Вениамин оттолкнул ее и при гробовом молчании прочел:

— «Альфред Симмондс, забойщик и клеевар, Уиллингдон. Торгуем шкурами, костью. Снабжаем псарни». Разве вы не поняли, что это значит? Бойца отправляют на живодерню!

Вне себя от ужаса животные заголосили. Но малый на козлах огрел лошадей кнутом, они резво зарысили, и фургон выехал со двора. Животные, плача навзрыд, гурьбой побежали за фургоном. Кашка пробилась вперед. Фургон уже набирал скорость. Кашка попыталась было поскакать во весь опор, но куда там, она так отяжелела, что и трусила-то с трудом.

— Боец! — кричала она.— Боец! Боец! Боец!

Кто знает, донеслись ли до него их крики, только в заднем окошке фургона показалась пересеченная белой отметиной морда Бойца.

— Боец! — кричала Кашка не своим голосом.— Боец! Беги! Беги скорей! Тебя везут на смерть!

Животные дружно подхватили:

— Беги, Боец, беги!

Но лошади набирали скорость, все дальше увозя от них фургон. Неизвестно, понял ли Боец, о чем его предупреж-

дала Кашка, но окошко чуть не сразу опустело, а из фургона донесся барабанный бой копыт. Это Боец пытался проломить стенку фургона. Было время, когда Бойцу ничего не стоило разнести фургон в щепки, но, увы, силы его были подорваны — барабанный бой копыт все слабел и слабел, а вскоре и вовсе стих. В отчаянии животные воззвали к лошадям, умоляя их остановиться.

— Товарищи! Товарищи! — кричали они.— Подумайте, кого вы везете на смерть — своего брата!

Но безмозглые твари, по темноте своей не понимая, о чем идет речь, только приложили уши и припустили еще пуще. Боец больше не показывался в окошке. Что бы им забежать вперед и закрыть тесовые ворота, но они поздно спохватились — и вот фургон уже миновал ворота и вскоре скрылся вдали. Больше они Бойца никогда не видели.

А три дня спустя было объявлено, что Боец умер в Уиллингдонской больнице, хотя для него сделали все, что только можно сделать для лошади. Весть о кончине Бойца принес животным Стукач. Он присутствовал, сказал Стукач, при кончине Бойца.

— Более трогательной кончины я не видел,— сказал Стукач и смахнул слезу ножкой.— Я принял его последний вздох. Перед смертью Боец совсем ослаб, он не мог говорить и прошептал мне на ухо, что мечтал лишь об одном — завершить строительство ветряной мельницы, а там умереть, да вот не вышло. «Вперед, товарищи! — прошептал он.— Вперед, во имя нашего восстания! Да здравствует Скотный Двор! Да здравствует товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» — таковы были его предсмертные слова.

Тут повадка Стукача резко изменилась. Он умолк, долго озирался по сторонам и только потом продолжил свою речь.

Как ему стало известно, сказал Стукач, когда Бойца увозили, по ферме распространился глупый и зловредный слух. Кое-кто из них, очевидно, заметил, что на фургоне, приехавшем за Бойцом, стояла надпись «забойщик», и сделал из этого вывод, будто Бойца отправили на живодерню. Просто не верится, сказал Стукач, чтобы животные опустили до такой глупости. Не может быть, негодовал Стукач, вертя хвостиком и приплясывая, не может быть, чтобы они подумали такое о своем любимом вожде товарище Наполеоне! Все объясняется как нельзя проще. Ветеринар купил фургон

у живодера, а замазать имя прежнего владельца не успел. Вот откуда пошла ошибка.

У животных сразу отлегло от души. А когда Стукач с красочными подробностями описал им последние минуты Бойца и рассказал, каким уходом его окружили, какими дорогами лекарствами пользовали, причем Наполеон, ни минуты не колеблясь, выложил за них деньги — последние их сомнения рассеялись, а скорбь смягчилась: по крайней мере, кончина их товарища была счастливой.

В следующее воскресенье Наполеон лично пришел на собрание и произнес короткое надгробное слово Бойцу.

Пусть нам не удалось, сказал он, перевезти останки нашего усопшего товарища и предать их земле, но он велел сплести большой венок — на него пустят ветки с лавровых кустов, растущих у нас в саду, — и послать венок в Уиллингдон, чтобы его возложили на могилу Бойца. А через несколько дней свиньи непременно устроят поминки по Бойцу. В заключение своей речи Наполеон напомнил животным любимые девизы Бойца: «Я буду работать еще упорнее!» и «Товарищ Наполеон всегда прав». Девизы эти, сказал он, не мешало бы взять на вооружение каждому животному.

В день поминок к хозяйскому дому подъехал бакалейный фургон из Уиллингдона — он доставил большой ящик с бутылками. Вечером из дома послышалось разудалое пенье, за ним шумная перебранка, а в одиннадцать часов раздался оглушительный грохот бьющегося стекла, и на том поминки закончились. До полудня следующего дня хозяйский дом затих, и по ферме прошел слух, что свиньи раздобыли где-то деньги и купили себе еще ящик виски.

Глава X

Шли годы. Одна пора сменялась другой, а у скотины век короткий, и пролетает он быстро. Наступило время, когда, кроме Кашки, Вениамина, ворона Моисея и кое-кого из свиней, никто не помнил, как они жили до восстания.

Мона умерла, Ромашка, Роза и Кусай тоже умерли. Умер Джонс — он скончался вдали от здешних мест в приюте для алкоголиков. Никто не помнил Обвала, да и Бойца по-

мнили лишь те, кто знал его, а таких было раз, два и обчелся. Кашка превратилась в дебелую кобылу преклонных лет, ноги у нее не гнулись, глаза слезились. Ей еще два года назад полагалась пенсия, но, по правде говоря, никто из животных на покой пока не ушел. Разговоры о том, что от выгона отгородят уголок под пастбище для престарелых, давным-давно заглохли. Наполеон заматерел, он теперь весил пудов десять с гаком. Стукач до того разжирел, что с трудом открывал глаза. Только старенький Вениамин каким был, таким и остался, разве что шерсть на морде у него поседела да после смерти Бойца он стал еще более замкнутым и несловоохотливым.

Поголовье на Скотном Дворе увеличилось, хотя и не так сильно, как ожидали в первые годы после восстания. За это время народилось много новых животных — для них восстание было лишь туманной легендой, передаваемой изустно; немало животных купили — а они до своего появления на Скотном Дворе и вовсе не слышали о восстании. Теперь на ферме имелись еще три лошади, кроме Кашки. Отличные, крепкие кобылы, работяги, хорошие товарки, но уж очень глупые. Ни одна из них дальше буквы Б не продвинулась. Они принимали на веру все, что им рассказывали о восстании и положениях скотизма другие и тем более Кашка, которую они почитали как мать, но, похоже, мало что понимали.

Хозяйство наладилось, порядка стало больше, к Скотному Двору прирезали еще два поля — их купили у мистера Калмингтона. Строительство ветряной мельницы удалось наконец закончить, и теперь у них были и молотилка, и стогометатель; пристроили много новых служб. Сопли купил себе дрожки. Но генератор на ветряной мельнице так и не установили. На ней мололи зерно, а это приносило немалые деньги. Теперь животные, не щадя сил, строили другую мельницу: когда они ее закончат, говорили им, на ней установят генератор. Но о тех роскошествах, которые некогда сулил им Обвал: стойлах с электрическим светом, горячей и холодной водой, сокращении рабочей недели,— ни о чем подобном теперь уже и речи не было. Наполеон заклеил подобные излишества, сказал, что они противоречат духу скотизма. Работать, не щадя сил, и жить скромно — вот в чем истинное счастье, говорил Наполеон.

Хотя Скотный Двор богател, создавалось такое впечатление, что животные не становились богаче, за исключением, конечно, псов и свиней. Отчасти это, наверное, объяснялось тем, что уж очень много и тех, и других развелось на ферме. И не скажешь, чтобы они не работали, на свой, конечно, лад. Руководство работой и ее организация требуют огромной затраты труда, не уставал объяснять животным Стукач. Работа эта по преимуществу была такого рода, что никто, кроме свиней, по темноте своей не понимал ее значения. Например, Стукач объяснил животным, что свиньи ежедневно кладут много сил на составление малопонятных штуквин, которые называются «данные», «отчеты», «протоколы» и «докладные». Это были большие листы бумаги — они убористо исписывались, после чего отправлялись в топку. На них, утверждал Стукач, зиждется благополучие Скотного Двора. Однако ни свиньи, ни псы своим трудом прокормить себя не могли, а вон их сколько развелось, да и на аппетит они не жаловались.

Что же до остальных животных, их жизнь, насколько они понимали, какой была, такой и осталась. Они вечно недоедали, спали на соломе, ходили на водопой к пруду, работали в поле, зимой страдали от холода, летом — от мух. Порой те, кто постарше, рылись в слабеющей памяти, пытались вспомнить, лучше или хуже им жилось сразу после восстания, когда они только что прогнали Джонса. И не могли вспомнить. Им не с чем было сравнивать сегодняшнюю жизнь, не по чему судить, кроме столбцов цифр, которые зачитывал Стукач, а они неизменно доказывали, что жить стало лучше. Животные убедились, что им не докопаться до сути, к тому же у них не хватало времени на размышления. Только старенький Вениамин настаивал, что помнит всю свою долгую жизнь до мельчайших деталей и знает, что им никогда не жилось ни лучше, ни хуже — голод, непосильный труд и обманутые ожидания, таков, говорил он, нерушимый закон жизни.

И все же животные не оставляли надежды. Более того, они ни на минуту не забывали, что им выпала честь быть гражданами Скотного Двора. Ведь другой такой фермы, которая и принадлежит животным, и управляется ими, нет во всей стране, и в какой стране — в Англии! Все без исключения животные, даже самые молодые, даже новички, приве-

зенные с ферм за пятнадцать, за двадцать километров, не могли этому надивиться. И когда раздавался ружейный залп, а на флагштоке реял зеленый флаг, сердца их преисполняла непреходящая гордость, и, о чем бы ни шла речь, они сворачивали на те героические времена, когда прогнали Джонса, создали семь заповедей и в боях отстояли ферму от человеческих захватчиков. Прежние чаяния не были забыты. Они все еще верили, что пророчество Главаря исполнится, Англия станет Скотной Республикой, и по ее полям не будет ступать нога человека. Настанет день, и их чаяния сбудутся; возможно, ждать этого придется долго, возможно, никто из них не доживет до этого, но их чаяния сбудутся. Да и «Твари Англии», правда тайком, напевали то там, то сям, во всяком случае, все без исключения животные на ферме знали эту песню, хоть и не осмеливались петь ее вслух. И пусть их жизнь тяжела, и пусть не все их чаяния осуществились, зато они не чета животным других ферм. Пусть они голодают, но не потому, что кормят угнетателей-людей, и пусть их труд тяжел, но они работают на себя. Никто из них не ходит на двух ногах, никто не зовет другого «хозяин». Все животные равны.

Как-то в начале лета Стукач приказал овцам следовать за ним и увел их на поросший молодыми березами пустырь по другую сторону Скотного Двора. Овцы целый день паслись там, щипали листья под надзором Стукача. Вечером Стукач возвратился на ферму один, а овцам велел ночевать на пустыре, благо стояли теплые дни. Они пробыли там целую неделю, и за это время никто из животных их не видел. Стукач проводил с овцами все дни напролет. По его словам, он хотел в спокойной обстановке разучить с ними новую песню.

И вот в один погожий вечерок, когда овцы только-только возвратились, а животные, окончив работу, тянулись на ферму, со двора донеслось испуганное ржание. Животные остановились как вкопанные. Ржала Кашка. Но вот она заржала снова, и тут уж животные припустили и ворвались во двор. Им открылась та же картина, что и Кашке.

Свинья шла на задних ногах.

Да, это был Стукач. Чуть неуклюже — оно и понятно, легко ли с непривычки держать такую тушу стоймя, — но не клонясь ни вправо, ни влево, он разгуливал по дво-

ру. А немного погодя из двери хозяйского дома вереницей вышли свиньи — все до одной на задних ногах. Кто лучше, кто хуже, две-три шли не очень уверенно и, похоже, были бы не прочь подпереться палкой, но тем не менее все успешно обогнули двор. Напоследок оглушительно залаяли псы, пронзительно закукарекал черный петушок, и из дома вышел сам Наполеон — прямой, величавый, он надменно поглядывал по сторонам, а вокруг него бесновалась психическая свита.

Он держал кнут.

Воцарилось гробовое молчание. Изумленные, потрясенные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как длинная вереница свиней прогуливается по двору. Им казалось, мир перевернулся вверх тормашками. Но вот первое потрясение прошло, и тут — несмотря ни на что, ни на боязнь псов, ни на выработавшуюся за долгие годы привычку, что бы ни случилось, не роптать, не критиковать — они бы возмутились. И в то же самое время, точно по команде, овцы оглушительно грянули:

— Четыре ноги хорошо, две — лучше! Четыре ноги хорошо, две — лучше!

И блеяли целых пять минут без перерыва. А когда овцы уgomонились, свиньи вернулись в дом, и возмущаться уже не имело смысла.

Кто-то ткнулся Вениамину носом в плечо. Он обернулся. Позади стояла Кашка. Глаза ее смотрели еще более подслеповато, чем обычно. Ничего не говоря, она тихонько потянула Вениамина за гриву и повела к торцу большого амбара, где были начертаны семь заповедей. Минуту-другую они смотрели на белые буквы, четко выступавшие на осмоленной стене.

— Я стала совсем плохо видеть, — сказала наконец Кашка. — А я не могла разобрать, что здесь написано, и когда была помоложе. Только, сдается мне, стена стала другая. Вениамин, ну а семь заповедей, они-то те же, что прежде?

И тут Вениамин впервые изменил своим правилам и прочел Кашке, что написано на стене. Там осталась всего-навсего одна-единственная заповедь. Она гласила:

Все животные равны.

Но некоторые животные

Более равны, чем другие.

После этого они ничуть не удивились, когда на следующий день свиньи-надсмотрщики вышли на работу с кнутами. Не удивились они и узнав, что свиньи купили себе приемник, ведут переговоры об установке телефона и подписались на «Джона Буля», «Тит-Бит» и «Дейли миррор». Не удивились они и когда Наполеон стал прогуливаться по саду, попыхивая трубкой. И даже когда свиньи вынули из шкафов одежду мистера Джонса и обрядились в нее — они и то не удивились. Для себя Наполеон выбрал черный пиджак, галифе и кожаные краги, а для своей любимой свиноматки нарядное муаровое платье миссис Джонс.

А спустя неделю к Скотному Двору стали подкатывать дрожки. Депутация соседних фермеров прибыла осмотреть Скотный Двор. Приглашенных провели по ферме, где буквально все вызвало их восхищение, особенно ветряная мельница. Животные пололи в поле репу. Работали усердно, уткнув носы в землю: они и сами не знали, кого больше боятся — свиней или людей.

Вечером из хозяйского дома доносились раскаты смеха, пение. В слитном гуле нельзя было различить голосов, и животных разобрало любопытство. Что же там такое происходит: ведь животные и люди в первый раз встречаются на равных. И все как один они по-пластунски поползли к хозяйскому дому.

В воротах они было помедлили, заколебались, но Кашка увлекла их за собой. На цыпочках подкрались они к дому, и те из них, у кого хватило роста, заглянули в окно столовой. Вокруг длинного стола расположились шесть фермеров и столько же наиболее высокопоставленных свиней. Сам Наполеон восседал на почетном месте во главе стола. Свиньи, судя по всему, вполне освоились со стульями. Компания, похоже, с азартом резалась в карты, но сейчас, очевидно, прервала игру ради тоста. По столу ходил большой кувшин, кружки вновь наполняли пивом. Животных, с любопытством заглядывающих в окно, никто не заметил.

Мистер Калмингтон из Плутней встал с кружкой в руке. Вскоре, сказал мистер Калмингтон, он предложит присутствующим тост. Но прежде он почитает своим долгом сказать несколько слов.

Не могу передать, сказал он, какое удовлетворение чув-

ствует он и, уверен, не только он, но и все присутствующие оттого, что долгим годам взаимного недоверия и непонимания пришел конец. Было такое время — хотя ни он и, конечно же, никто из присутствующих этих чувств не разделяли, — но тем не менее было время, когда люди с соседних ферм относились к почтенным владельцам Скотного Двора не сказать, с враждебностью, но с некоторой опаской. Случались досадные стычки, бытовали ошибочные представления. Считалось, что ферма, которая принадлежит свиньям и управляется ими, явление не вполне нормальное, не говоря уж о том, что такая ферма, несомненно, может оказать разлагающее влияние на соседние фермы. Многие, даже слишком многие фермеры, не потрудились навести справки, решили, что на такой ферме царят распущенность и расхлябанность. Их беспокоило, как подействует не только на их животных, но и на их работников само наличие такой фермы. Однако сейчас все сомнения развеялись. Сегодня он вместе с друзьями посетил Скотный Двор и внимательнейшим образом осмотрел его, и что же они обнаружили? Не только самые современные методы ведения хозяйства, но и порядок, и четкость, которые мог бы взять за образец любой фермер. Надеюсь, он не погрешит против истины, если скажет, что на Скотном Дворе низшие животные работают больше, а кормов получают меньше, чем на любой другой ферме. Словом, и ему, и его друзьям довелось увидеть сегодня много такого, что они безотлагательно введут на своих фермах.

В заключение, сказал мистер Калмингтон, ему еще раз хочется отметить то чувство дружбы, которое сохранялось все эти годы и, он надеется, сохранится и впредь между Скотным Двором и его соседями. Интересы свиней и людей никоим образом не противоречат и не должны противоречить друг другу. У них одни и те же цели, одни и те же трудности. Разве проблема рабочей силы не везде одинакова? В этом месте мистер Калмингтон явно собрался попотчевать слушателей заранее заготовленной остротой, но его так разбирал смех, что он не мог выговорить ни слова. Он давился, его многоэтажные подбородки наливались кровью, но в конце концов все же справился с собой.

— Вам приходится держать в узде низших животных, — сказал он, — а нам низшие классы!

Стол ответил на его “воп нот” взрывом хохота, а мистер Калмингтон вновь поздравил свиней с заведенными на Скотном Дворе порядками: скудными пайками, долгим рабочим днем и полным отсутствием каких-либо послаблений.

А теперь, заключил мистер Калмингтон, он попросит присутствующих встать и проверить, не забыли ли они наполнить свои бокалы.

— Господа! — закончил свою речь мистер Калмингтон. — Господа, я хочу предложить тост за процветание Скотного Двора!

Бурные аплодисменты, топот. Наполеону речь до того понравилась, что, прежде чем осушить кружку, он подошел чокнуться с мистером Калмингтоном. Когда аплодисменты стихли, Наполеон — а он так и не сел — объявил, что он тоже хочет сказать несколько слов.

Как и всегда, Наполеон говорил кратко и по существу. Он тоже, сказал Наполеон, счастлив, что их непониманию пришел конец. Долгое время ходили слухи, которые распространяли, как есть все основания полагать, наши недруги, что он и его помощники исповедуют подрывные и чуть ли не революционные взгляды. Им приписывали, будто они призывают животных соседних ферм к восстанию. Клевета от начала и до конца! Единственное, чего они хотели бы и сейчас, и в прошлом, так это мира и нормальных деловых отношений со своими соседями. Ферма, которую он имеет честь возглавлять, добавил Наполеон, предприятие кооперативное. И купчие на Скотный Двор, хранящиеся у него, — коллективная собственность свиней.

Он верит, сказал Наполеон, что прежние подозрения рассеялись, и все же кое-какие порядки на ферме были изменены с целью еще больше укрепить возникшее доверие. До сих пор у животных на ферме имелся нелепый обычай называть друг друга «товарищ». Он подлежит отмене. Имелся и другой дикий обычай, истоки которого неясны, — проходить каждое утро церемониальным маршем мимо прибитого к столбу в саду черепа старого хряка. И этот обычай в свою очередь подлежит отмене, а череп уже предан земле. Наши гости успели, очевидно, заметить и реючий на флагштоке зеленый флаг. Если так, то им, вероятно, уже бросилось в глаза, что прежде на нем были изображены белой краской рог и копыто — теперь их нет. Отныне и на-

всегда флаг будет представлять собой гладко-зеленое полотнище.

У него есть только одна поправка, сказал Наполеон, к превосходной добрососедской речи мистера Калмингтона. Мистер Калмингтон на протяжении своей речи называл ферму Скотным Двором. Мистер Калмингтон, разумеется, не мог знать, поскольку Наполеон сегодня впервые объявляет об этом, что название Скотный Двор упразднено. Впредь их ферма будет называться Господский Двор, как ее, по его мнению, и подобает называть, раз так она называлась искони.

— Господа,— заключил свою речь Наполеон.— Предлагаю вам тот же тост, я лишь слегка видоизменяю его. Наполните бокалы до краев. Господа, вот мой тост: выпьем за процветание Господского Двора.

Горячие аплодисменты, кружки осушили до дна. Однако животным, смотревшим в окно, казалось, что на их глазах происходит нечто странное. Отчего стали так не похожи на себя свиные хари? Глаза Кашки подслеповато перебежали с одной хари на другую. У кого пять подбородков, у кого четыре, а у кого всего три. Отчего же хари так расплывались, менялись? Потом, когда аплодисменты смолкли, компания взялась за карты, продолжила прерванную игру, а животные молча уползли воясяи.

Но уже через двадцать метров они остановились как вкопанные. Из хозяйского дома донесся шум голосов. Они кинулись назад, снова заглянули в окно. Так и есть — в столовой кричали, стучали по столу, испепеляли друг друга взглядами, яростно переругивались. Судя по всему, ссора разгорелась из-за того, что Наполеон и мистер Калмингтон одновременно пошли с туза пик.

Двенадцать голосов злобно перебранивались, отличить, какой чей, было невозможно. И тут до животных наконец дошло, что же случилось со свинными харями. Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно.

Ноябрь 1943 — февраль 1944

Гонорар переводчики передают на памятник жертвам сталинских репрессий (Общество «Мемориал», счет № 700241 в Ленинградском отделении Жилсоцбанка г. Москвы.)

Рецензия на «Майн кампф» Адольфа Гитлера

Символичной для нынешнего бурного развития событий стала осуществленная год назад публикация издательством «Херст энд Блэкетт» полного текста «Майн кампф» в явно прогитлеровском духе. Предисловие переводчика и примечания написаны с очевидной целью приглушить яростный тон книги и представить Гитлера в наиболее благоприятном свете. Ибо в то время Гитлер еще считался порядочным человеком. Он разгромил немецкое рабочее движение, и за это имущие классы были готовы простить ему почти все. Как левые, так и правые свыклись с весьма убогой мыслью, будто национал-социализм — лишь разновидность консерватизма.

Потом вдруг выяснилось, что Гитлер вовсе и не порядочный человек. В результате «Херст энд Блэкетт» переиздало книгу в новой обложке, объяснив это тем, что доходы пойдут в пользу Красного Креста. Однако, зная содержание книги «Майн кампф», трудно поверить, что взгляды и цели Гитлера серьезно изменились. Когда сравниваешь его высказывания, сделанные год назад и пятнадцатью годами раньше, поражает косность интеллекта, статика взгляда на мир. Это — застывшая мысль маньяка, которая почти не реагирует на те или иные изменения в расстановке политических сил. Возможно, в сознании Гитлера советско-германский пакт не более чем отсрочка. По плану, изложенному в «Майн кампф», сначала должна быть разгромлена Россия, а потом уже, видимо, Англия. Теперь, как выясняется, Англия будет первой, ибо из двух стран Россия оказалась сговорчивей. Но когда с Англией будет покончено, придет черед России — так, без сомнения, представляется Гитлеру. Произойдет ли это на самом деле — уже, конечно, другой вопрос.

Предположим, что программа Гитлера будет осуществ-

влена. Он намечает, спустя сто лет, создание нерушимого государства, где двести пятьдесят миллионов немцев будут иметь достаточно «жизненного пространства» (то есть простирающегося до Афганистана или соседних земель); это будет чудовищная, безмозглая империя, роль которой, в сущности, сведется лишь к подготовке молодых парней к войне и бесперебойной поставке свежего пушечного мяса. Как же случилось, что он сумел сделать всеобщим достоянием свой жуткий замысел? Легче всего сказать, что на каком-то этапе своей карьеры он получил финансовую поддержку крупных промышленников, видевших в нем фигуру, способную сокрушить социалистов и коммунистов. Они, однако, не поддержали бы его, если бы к тому моменту своими идеями он не заразил многих и не вызвал к жизни целое движение. Правда, ситуация в Германии с ее семью миллионами безработных была явно благоприятной для демагогов. Но Гитлер не победил бы своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом, что чувствуется даже в грубом слого «Майн кампф» и что явно ошеломляет, когда слышишь его речи. Я готов публично заявить, что никогда не был способен испытывать неприязнь к Гитлеру. С тех пор как он пришел к власти,— до этого я, как и почти все, заблуждался, не принимая его всерьез,— я понял, что, конечно, убил бы его, если бы получил такую возможность, но лично к нему вражды не испытываю. В нем явно есть нечто глубоко привлекательное. Это заметно и при взгляде на его фотографии, и я особенно рекомендую фотографию, открывающую издание «Херста энд Блэкетта», на которой Гитлер запечатлен в более ранние годы чернорубашечником. У него трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, лицо человека, страдающего от невыносимых несправедливостей. Это, лишь более мужественное, выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся на картинах, и почти наверняка Гитлер таким себя и видит. Об исконной, сугубо личной причине его обиды на мир можно лишь гадать, но в любом случае обида налицо. Он мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, идущий на смерть герой, который бьется одной рукой в последнем неравном бою. Если бы ему надо было убить мышь, он сумел бы создать впечатление, что это дракон. Чувствуется, что, подобно Наполеону, он бросает вызов

судьбе, обречен на поражение, и все же почему-то достоин победы. Притягательность такого образа, конечно, велика, об этом свидетельствует добрая половина фильмов на подобную тему.

Он также постиг лживость гедонистического отношения к жизни. Со времен последней войны почти все западные интеллектуалы и, конечно, все «прогрессивные» основывались на молчаливом признании того, что люди только об одном и мечтают — жить спокойно, безопасно и не знать боли. При таком взгляде на жизнь нет места, например, для патриотизма и военных доблестей. Социалист огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, но он никогда не сможет придумать, чем же заменить оловянных солдатиков; оловянные пацифисты явно не подойдут. Гитлер, лучше других постигший это своим мрачным умом, знает, что людям нужны не только комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль рождаемости и вообще здравый смысл; они также хотят, иногда по крайней мере, борьбы и самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадных изъявлениях преданности. Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом плане, психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту социализма. Все три великих диктатора упрочили свою власть, возложив непомерные тяготы на свои народы. В то время как социализм и даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят людям: «У вас будет хорошая жизнь», Гитлер сказал им: «Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть»; и в результате вся нация бросилась к его ногам. Возможно, потом они устанут от всего этого и их настроение изменится, как случилось в конце прошлой войны. После нескольких лет бойни и голода «Наибольшее счастье для наибольшего числа людей» — подходящий лозунг, но сейчас популярнее «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва.

*«Нью инглиш уикли», 21 марта
1940 г.*

Мысли в пути

Читая блистательную и гнетущую книгу Малькольма Магриджа «Тридцатые», я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго — пожалуй, лет двадцать — этого просто не замечал.

Отсесть душу было совершенно необходимо. Было необходимо, чтобы человек отказался от религии в той форме, которая ее прежде отличала. Уже к девятнадцатому веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а бедных держать бедными. Пусть бедные довольствуются своей бедностью, ибо им воздастся за гробом, где ждет их райская жизнь, изображавшаяся так, что выходил наполовину ботанический сад Кью-гарденз, наполовину ювелирная лавка. Все мы дети Божии, только я получаю десять тысяч в год, а ты два фунта в неделю. Такой вот или сходной ложью насквозь пронизывалась жизнь в капиталистическом обществе, и ложь эту подобало выкорчевать без остатка.

Оттого и наступил долгий период, когда едва ли не каждый думающий человек становился в каком-то смысле бунтарем, а часто безрассудным бунтарем. Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон, Вольтер, Руссо, Шелли, Байрон, Диккенс, Стендаль, Сэмюэл Батлер, Ибсен, Золя, Флобер, Шоу, Джойс — в том или ином отношении все они изничтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, на котором сидим. И вот, с внезапностью, мало кем предвиденной, эти наши старания увенчались успе-

хом — сук рухнул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая колючей проволокой.

Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились ко временам каменного века. Вдруг ожили человеческие типы, казалось бы, вымершие давным-давно: пляшущий дервиш, и разбойничий атаман, и Великий Инквизитор, — причем сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лечебницы, а властители мира. Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на обществуственную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать: этим бесконечным войнам, и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи расстреливают выстрелами в затылок, не слышными через обитые пробкой стены. Ампутация души — это, надо полагать, *не просто* хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться.

Смысл книги Магриджа поясняют два места из Екклесиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!»; «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Теперь смысл этот стал очень близок многим, кто всего несколько лет назад высмеивал его. Мы существуем среди кошмара именно *по той причине*, что пытались создать земной рай. Мы верили в «прогресс», в то, что нами под силу руководить простым смертным, воздавали кесарям Богово — примерно так принимаются рассуждать.

Сам Магридж, увы, тоже не дает повода допустить, что он верит в Бога. По крайней мере, исчезновение этой веры в человека для него, очевидно, аксиома. Тут он, не приходится сомневаться, прав, а если считать действительными только санкции, исходящие свыше, ясно, что из этого следует. Нет иной мудрости, кроме страха перед Богом, однако никто не страшится Бога, а значит, никакой мудрости не существует. Человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций — одна вавилон-

ская башня вслед другой. А если так, можно с уверенностью представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры — вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть, хотя, подозреваю, Магридж зачарован такой перспективой.

Прошло уж лет тридцать с той поры, как Хиллэр Беллок в своей книге «Государство рабов» на удивление точно предсказал происходящее в наши дни. К сожалению, ему нечего было предложить в качестве противоядия. У него все свелось к тому, что вместо рабства необходимо вернуться к мелкой собственности, хотя ясно, что такого возвращения не будет и что оно невозможно. Сегодня практически нет альтернативы коллективистскому обществу. Вопрос лишь в том, будет ли оно держаться силами добровольного сотрудничества или силой пулеметов. Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божия на земле, как оно прежде мыслилось, но, впрочем, еще и до того, как явился Гитлер, стало понятно, насколько далека эта идея от реального будущего, которое нас ожидает. То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже — ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Шанс избежать такого будущего ничтожен, если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства, значимому и без размышлений о «грядущей жизни». Эти размышления и побуждают неискушенных людей вроде настоятеля Кентерберийского собора всерьез верить, будто Советская Россия явила образец истинного христианства. Разумеется, они пали жертвами пропаганды, однако исповедуемый марксистами «реализм» тоже не оправдался, какими бы материальными достижениями он ни располагал. Получается, что нет альтернативы, помимо той, от которой нас так заботливо предостерегают Магридж, Ф. А. Фойгт и думающие в сходном духе; эта альтернатива — столько раз осмеянное Царство земное, иными словами, общество, в котором люди, памятуя, что они смертны, стремятся относиться друг к другу как братья.

Значит, у них должен быть общий отец. И поэтому часто говорят, что ощущения братства у людей не будет, пока их не сплотит вера в Бога. На это можно ответить, что большинство из них полусознанно уже прониклись таким ощу-

щением. Человек — не особь, он лишь клеточка вечносущего организма, и смутно он это сознает. Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-за абстракций, именуемых «честью», «долгом», «патриотизмом» и так далее, — разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору.

Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия, коль скоро они ее ощутили. «Погибших нет, коль Англия жива», — звучит высокопарной болтовней, но замените слово «Англия» любым другим по вашему предпочтению, и вы убедитесь, что тут схвачен один из главных стимулов человеческого поведения. Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ — нации, народа, единоверцев, класса — и постигают, что перестали быть личностями, лишь в самый момент, как засвистят пули. Чувствуй они хоть немного глубже, и преданность этому сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция.

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим гедонистическую утопию, которая казалась достижимой, заставляя людей столь охотно обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божие тем или иным способом должно сделаться реальностью на земле. Но нам надлежит оставаться детьми Божиими, даже если Бог из молитвенников более не существует.

Иной раз это постигали даже те, кто старался динамитом взорвать нашу цивилизацию. Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть опиум народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна. Маркс, по крайней мере в той работе, откуда эта фраза цитируется, не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность, насущность которой он не отрицал. «Религия — это

вздых угнетенной твари, сердце бессердечного мира... Религия есть *опиум* народа». Разве тут сказано не о том, что человеку *невозможно* жить хлебом единым, что одной ненависти *недостаточно*, что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов? Если бы Маркс предвидел, как велико окажется его интеллектуальное влияние, возможно, то же самое он сказал бы еще не раз и уже яснее.

1940 г.

Литература и тоталитаризм*

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назвать веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, — вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом ближайшем будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью или, вернее, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы, не задумываясь, исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая создавалась последние четыре века, — стоит на принципах честности или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, — оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждают некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но

* Из выступлений Оруэлла в программе на Индию по Би-би-си.

стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление делается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать, как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благополучии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и так далее, но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно *надлежит* думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать

мысли и чувства своих подданных, по меньшей мере, столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что верить, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые изо дня в день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики властей предрешающих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надоб-

ность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контрролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах — обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, — в немилитаристских государствах, в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю — пусть это слепая вера, не больше, — что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

19 июня 1941 г.

Уэллс, Гитлер и Всемирное государство

«В марте или апреле, утверждают любители пророчеств, по Англии будет нанесен сокрушительный удар... Трудно сказать, каким способом Гитлер намерен его нанести. Его ослабленные и распыленные военные части в настоящее время, по-видимому, ненамного превосходят силы итальянцев перед тем, как их проверили делом в Греции и в Африке».

«Воздушное могущество немцев почти иссякло. Их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух».

«В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с нею сопоставимого... И все равно наши военные «эксперты» твердят об ожидаемом наступлении, хотя это только фантом. Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То нам говорят, что будет осуществлен решающий «удар» через Испанию и Северную Африку, то рассуждают о броске через Балканы, о наступлении от Дуная к Анкаре и дальше — на Персию, на Индию, то об «уничтожении» России, то о «лавине», которая обрушится на Италию через перевал Бреннер. Проходят неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих предсказаний не сбывается — по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера вторгнуться на Британские острова. А вся их примитивная выучка наспех идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился и что война — дело долгое».

Приведенные цитаты заимствованы не из кавалерийского журнала, а из серии газетных статей Герберта Уэллса,

написанных в начале этого года, а теперь изданных книгой под заглавием «Путеводитель по новому миру». С тех пор как они были напечатаны, немецкая армия оккупировала Балканы и снова заняла Киренаику, она может, как только сочтет это целесообразным, двинуться и через Турцию, и через Испанию, она вторглась в Россию. Чем закончится эта последняя ее кампания, сказать не берусь, но все-таки замечу, что германский Генеральный штаб, чьи расчеты следует принимать всерьез, не начал бы операцию без твердой уверенности, что ее можно успешно завершить месяца за три. Вот так обстоит дело с немецкой армией, которой всего лишь пугают, не сообразив, как плохо она оснащена, как ослабела боевым духом и пр.

А что может Уэллс противопоставить «крикливому берлинскому пигмею»? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки*, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаемая антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей.

Но много ли проку утверждать, что необходим международный контроль над военными действиями в воздухе? Весь вопрос в том, как его добиться. Какой смысл разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении. Всякий разумный человек и прежде, в основном, соглашался с идеями Уэллса; но, на беду, власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву. Гитлер — сумасшедший и преступник, однако же у Гитлера армия в миллионы солдат, у него тысячи самолетов и десятки тысяч танков. Ради его целей великий народ охотно пошел на то, чтобы пять лет работать с превышением сил, а вслед за тем еще два года воевать, тогда как ради разумных и в общем-то гедонистических взглядов, излагаемых Уэллсом, вряд ли кто-то согласится пролить хоть каплю крови. И прежде

* Джон Сэнки (1866—1948), лорд-канцлер лейбористского правительства с 1929 года.

чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая необязательно будет столь же слепой, как у нацистов, однако не исключено, что столь же неприемлемой для «просвещенных» гедонистов. Что позволило Англии устоять в последний год? Отчасти, бесспорно, некое смутное представление о лучшем будущем, но прежде всего атавистическое чувство патриотизма, врожденное — у тех, чей родной язык английский, — ощущение, что они превосходят всех остальных. Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых интеллигентов состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их одушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего — необходимость защитить Святую Русь («священную землю отечества» и т. п.), о которой теперь вспомнил и говорит почти этими именно словами Сталин. Энергия, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается чувством национальной гордости, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом, — словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию.

Те, кто называет Гитлера Антихристом или, наоборот, святым, ближе к истине, нежели интеллектуалы, десять кошмарных лет утверждавшие, что это просто паяц из комической оперы, о котором нечего всерьез говорить. На поверку подобные настроения свидетельствуют лишь об изоляции, ставшей состоянием английской жизни. Книжный клуб левых, по существу, порождение Скотланд-Ярда, точно так же как Союз обета мира — порождение военного флота*. Одной из примет последнего десятилетия стал статус серьез-

* Книжный клуб левых — организация по распространению дешевых изданий, освещающих теоретические проблемы рабочего движения с лейбористских позиций; основана в 1935 г. издателем В. Голланцем, отвергшим по идейным причинам «Скотный Двор» Оруэлла; Союз обета мира — пацифистская организация, основанная в 1936 г. священником Д. Шеппардом.

ной литературы, который приобрела «политическая книга» — некий расширенный памфлет, сочетающий сведения по истории с критическими высказываниями о политике. Но самые заметные авторы таких книг — Трoцкий, Раушнинг, Розенберг, Силоне, Боркенау, Кёстлер и другие — не были англичанами, и, кроме того, почти все они были отступниками, то есть отреклись от экстремизма партий, к которым прежде принадлежали, познакомившись с тоталитаризмом накоротке, испытав преследования и переживание изгнание. Лишь в англоязычных странах вплоть до начала войны было принято считать, что Гитлер — не заслуживающий внимания фанатик, а немецкие танки сделаны из картона. По цитируемым мною высказываниям Уэллса видно, что он и сегодня думает примерно так же. Вряд ли его мнения переменялись ввиду бомбардировок или успехов немцев в Греции. Чтобы понять, в чем сила Гитлера, он должен был бы отказаться от образа мыслей, которого придерживался всю жизнь.

Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. Сражения, преследования, схватки — эта сторона жизни внушает ему глубочайшее отвращение, что выразилось во всех его ранних книгах яростными выпадами против любителей лошадей. Главный злодей в его «Историческом очерке» — Наполеон, искатель приключений на поле брани. Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же, бесконечно повторяющуюся мысль: человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе, — антиподы. Это противопоставление — постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны — наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса — это победа за победой, которые ученый одерживает над романтиком. Что же, Уэллс, вероятно, прав, по-

лагая, что «разумное», плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью, но допускать это как перспективу вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день. Где-то должны отыскаться следы полемики Уэллса с Черчиллем, происходившей во время русской революции. Уэллс упрекает Черчилля в том, что тот сам не верит собственным пропагандистским заявлениям, будто большевики — это чудовища, утопающие в пролитой ими крови, и так далее; просто Черчилль страшит, что большевики возвещают наступление эры здравого смысла и научного контроля, когда для охотников помахать жупелами — таких, как Черчилль, — не останется места. Но в действительности Черчилль судил о большевиках вернее, чем Уэллс. Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами — это не так уж и важно, — но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они вводили, был не утопией уэллсовского образца, а правлением избранных, представлявшим собой, подобно английскому правлению избранных, военную деспотию, подкрепленную процессами в духе охоты на ведьм. То же непонимание сути дела сказалось в иной форме, когда Уэллс взялся судить о нацистах. Гитлер — это соединившиеся в одном лице агрессоры и шарлатаны, какие только известны из истории. А стало быть, рассуждает Уэллс, это абсурд, тень давнего прошлого, выродок, которому суждено стремительно исчезнуть. Увы, нельзя поставить знак равенства между наукой и здравым смыслом. Наглядным подтверждением этого служит аэроплан, которого так нетерпеливо ждали, видя в нем символ цивилизации; на деле он почти и не используется, кроме как для сбрасывания бомб. Современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия, но стала куда более варварской страной. Много из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы — и все это поставлено на службу идей, подобающих каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого принять. Ведь это противоречит мировоззрению, изложенному в его собственных книгах. Агрессоры и шарла-

таны *должны быть* обречены, а идея Всемирного государства, каким его мыслит либерал прошлого столетия, чье сердце не забьется при звуке боевой трубы, *должна* восторгаться. Если не принимать во внимание изменников и малодушных, Гитлер ни для кого *не должен* выглядеть как опасность. Его конечная победа означала бы невозможное возвращение истории вспять — вроде реставрации Якова II.

Впрочем, не становится ли отцеубийцей человек моего возраста (а мне тридцать восемь), посягнувший на авторитет Уэллса? Интеллигенты, родившиеся примерно в начале века, — в каком-то смысле уэллсовское творение. Можно спорить о степени влияния любого писателя, в особенности «популярного», чьи книги находят быстрый отклик, но, на мой взгляд, из писавших, во всяком случае по-английски, между 1900-м и 1920 годом никто не повлиял на молодежь так сильно, как Уэллс. Все мы думали бы совсем иначе, если бы его не существовало, а значит, иным был бы и мир вокруг нас. Но дело в том, что как раз целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновенного пророка в эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. Когда Уэллс был молод, антитеза науки и реакции не выглядела ложной. Обществом управляли недалекие, редкостно банальные люди — алчные бизнесмены, тупые сквайры, епископы, политики, способные цитировать Горация, но слыхом не слыхавшие об алгебре. Наука почиталась несколько безнравственной, а религия была незыблемой. Казалось, что все это вещи одного ряда — страсть к традициям, скудоумие, снобизм, патриотические восторги, предрассудки, поклонение войне; требовался кто-то, способный выразить противоположный взгляд. На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф, будущие его работодатели помыкали им — «Не смей! Нельзя!», родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латынь, — и вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо *знал*, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали

респектабельные господа. Лет за десять или даже больше до того, как инженеры сумели построить аэроплан, Уэллс знал, что человек вскоре сможет летать. А знал он это, оттого что сам *хотел* научиться летать и верил: исследования в данной области будут продолжаться. Но, с другой стороны, в годы, когда я был мальчишкой и братья Райт все-таки подняли с земли машину, продержавшуюся в воздухе пятьдесят девять секунд, общепринятым мнением было: если бы Всевышнему угодно было, чтобы мы летали, Он бы снабдил нас крыльями. До 1914 года Уэллс был истинным пророком в главном. По части материальных подробностей его предвидение сбылось с удивительной точностью.

Однако он принадлежал девятнадцатому веку, а также народу и сословию, не любящим воевать, и поэтому для него осталась тайной огромная сила старого мира, олицетворением которого он видел тори, занятых лисьей охотой. Он не смог да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени — факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом. Детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, чтобы совладать с ними. Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо сами наделенные чем-то родственным фашизму. Незатейливая книга вроде «Железной пяты», написанной тридцать с небольшим лет назад, содержит куда более верное пророчество будущего, чем «О дивный новый мир» или «Образ надвигающегося мира». Если искать среди современников Уэллса писателя, который мог бы явиться в отношении его необходимым коррективом, следует упомянуть Киплинга, отнюдь не безразличного к понятиям силы и воинской «славы». Киплинг понял бы, чем притягивает Гитлер или, раз на то пошло, Сталин, хотя трудно сказать, как бы он к ним отнесся. А Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса — они его высшее достижение — прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена, а с 1920 года Уэллс растрчивает свой талант, сражая бумажных драконов. Но как это прекрасно, когда есть что растрчивать!

«Хоризон», август 1941 г.

Вспоминая войну в Испании

I

Прежде всего о том, что запомнилось физически, — о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки перед тем, как нас отправили на фронт, — громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощенные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали фляжечки вина, девушки в брюках — служащие милиции, рубившие дрова под котел, переключки ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом со звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастиан Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двух, которые были просто подонки и теперь наверняка со рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двух я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему — шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне — повсюду тебя преследующие отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего,

но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы — солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашизма, мы на войне, на *справедливой* войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии многое способствовало подобным мыслям — скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь объедков, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто побыв солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегданнем ужасе этого существования) остается в общем-то одним и тем же, на какую бы войну ты ни угодил. Дисциплина — она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившиеся под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши — это вши, а бомбы — это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.

Зачем разъяснять вещи настолько очевидные? А затем, что английская и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уокер» — на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там

бессмысленных избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвинов et hoc genus*; о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похвалиться воинской «славой», высмеивали рассказы об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества,— вдруг они начали писать такое, что, если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это — из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если во что и верила безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она — только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начал клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война — это ад», а теперь объявившей, что «война — это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции — те, кто в 1935 году поддерживали декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, то их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из крана,— все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в другом случае

* и прочих в том же роде (лат.).

отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно так и рассуждали; да и теперь о республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Меж тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война — зло, но часто меньшее из зол. Взявшие меч и погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы *паразитического* капитализма.

II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях.

Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать — так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто — в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может перемениться и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету — лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее, главным образом, левые, хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914—1918-го, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние пронацисты вовсю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а оттого можно высказываться и в анти-немецком, и в антибританском духе; частично — тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу. Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы первой войны, выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом кружке, если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы столько желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?» Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Но некоторые стараются убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, сказать придется и вещи куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписы-

ваются каждой войне, но из этого прежде всего следует подтверждение истинности подобных рассказов. Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того — теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать, — трудно сомневаться в том, что те, кого с допущением можно назвать «белые», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью да и бесчинствуют больше, чем «красные». Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения не возможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио. Все это действительно было — вот о чем надо думать. Это было, пусть то же самое утверждает лорд Галлифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах, — все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» — с опозданием в пять лет.

III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов — дистанция слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти ярдов на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе, нейтральная полоса проходила через открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока

не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось — мы просидели слишком долго, и нас застигла заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади — двести ярдов ровной земли, где кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах поднялся гвалт и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо посланный с донесением командиру; поддерживая штаны руками, он бежал вдоль бруствера. Он не успел одеться и подтягивал штаны на бегу. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного — добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я, главным образом, из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать фашистов, а этот, натягивающий штаны, — какой он фашист, просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай — совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы, — особенно запомнилась мне протянутая рука с вертикально поставленной ладонью, чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар, тогда их можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало — двадцать пять песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор — этот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастного парнишку повели в караулку и обыскали; он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне

ужас, он снял с себя все до последнего лоскута, тряпки его перетряхнули. Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал. Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостив коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним — разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрала, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая — вполне справедливо, — что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгрел его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же прониклись ко мне враждебностью — испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» — и так далее. Насколько позволял мой скверный испанский язык, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю я об этом к тому, что горячее всех меня поддерживал этот чумазый подросток. Едва разобравшись, что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» (¡No hay sabo como el!) Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немислимо, чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиниться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что

развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувств, при которой любые из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства грубости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в себе не содержат, однако врезались мне в память, потому что в них этот особый воздух времени, когда все ходили в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международная солидарность пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали?! Нельзя, конечно, — и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

IV

Борьба за власть между различными группировками испанской Республики — тема большая и слишком сложная; я не хочу ее касаться, не пришло еще время. Упоминаю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему или почти ничему из того, что пишется про внутренние дела в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной целям той или иной партии, — иначе сказать, ложью. Правда же о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность

сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кёстлеру: «История в 1936 году остановилась», и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм — в целом и особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолоду я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, — было бы даже лучше, если бы они откровенно ввали. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявили отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного — речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина войны, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удаться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими

Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, что пишут «Католик гералд» и «Дейли мейл», — правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь лишь одного пункта — присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникает в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и — раз уж об этом зашла речь — сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства, — как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами, — все равно, каким образом восстановить настоящую историю

войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали ко лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из не самых важных подробностей. Во всяком случае, *какую-то* историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретет статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи — отказ от самой идеи, что *возможна* история, которая правдива. В прошлом врал с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть факты, которые более или менее возможно отыскать. И действительно, всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне — вы увидите, что немало материала позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разойдется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, на счет которых никто и не будет полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает именно эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого видового единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и так далее. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и *прошлое*. Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два — пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, — а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли — мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенных средства предотвратить фантазмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответствующим распоряжением. Первое из них — признание, что истина, как бы вы ее ни отрицали, тем не менее существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе — либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких разновидностей фашизма воцарился повсюду в мире, — тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что в конце концов все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полунстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противьтесь злу, оно каким-то образом само себя изживет. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, — это ведь самое типичное рабство! Ну разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем — скажем,

в том, что касается разъединения семей,— условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, *должен рухнуть*. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак, Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера — “Felix fecit”. Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободом на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.

V

Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально — важно помнить, что только потенциально, — рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма, просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослойек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской ре-

волюции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым незаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец; причина — она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства, — та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них нападают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценивать нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу — нацисты же, совершенно очевидно, считают нужным не скупиться на подачки, чтобы купить интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко попадают на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может да, видимо, и не добивается. Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая — это они понимают все лучше — теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более осознанно, то интуитивно. В Испа-

нии было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испании первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен. Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир обязан был и мог им дать.

Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны — а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, — трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов* и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на земле. Но победил Франко, и повсюду на земле держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее — только накипь.

VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине — где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин** со своим правительством, ви-

* Блимп — персонаж серии карикатур Дэвида Лоу (1891—1963), солдафон, отличающийся ультрареакционными взглядами.

** Хуан Негрин (1894—1956), премьер-министр Испании, затем возглавлял испанское правительство в эмиграции.

димо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех, ее плохо вооружили, тактика была примитивной, но ничего бы не переменялось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности), сильно мешал традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждения троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверны. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были сильнее; у них было современное вооружение, а у Республики не было. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне — это позиция великих держав. Фактически войну выиграли для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружие на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала — через год или два. И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто

глупы английские правители — вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанские революционные движения, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было *предотвратить* революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся, если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле представляет собой примитивный оппортунизм. Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники — нет. С профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократии и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах. Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные,

плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года, несомненно, гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затыжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucion
Luchar hast' al fin!*

Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось, — итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги про испанскую войну** и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой — совсем живым! — этого итальянца в засаленном мундире, стоит взглянуть в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую — они это понимали — от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая ждала судьба этого итальянца, горько, и сразу по нескольким при-

* И наша решимость бороться до конца (*исп.*).

** «В честь Каталонии».

чинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают — не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа — того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Бухман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Кафлин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Биверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив всех их сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмысленности социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы оценить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычно французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен. А наглость, с какой все эти политики, священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти про-

поведники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну и чтобы постельное белье менялось, как полагается, а крыша не протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии — для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю — да и кто утверждает, — что подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с тяжким трудом должно быть покончено, прежде чем подступаться к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от страха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наестись, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым. Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и злоеущий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики — все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человеческую жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть без достаточных оснований, верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это про-

изошло не позже, а раньше — скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи:

Солдат-итальянец мне руку пожал
В караулке, где встретились мы.
Мои тонкие пальцы в ладони он смял,
Красной, как слой сурьмы.

Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,
Если б пушки молчали вокруг.
Но то, о чем я мечтал, сбылось,
Потому что нашелся друг.

Для тебя слова, от которых тошнит,
Святые — ты смысл их постиг.
И знание людей тебе не претит,
Ты усвоил его не из книг.

Нас битва влекла и пьянила борьба,
Мы оба ринулись в бой.
И понял я, что это судьба,
Когда повстречался с тобой.

Что ж, удачи тебе, итальянец солдат!
Но удачи для храбрых нет.
И не думай, чем люди тебя наградят,
Пусть душа свой оставит след.

А где скитаться ей суждено?
Меж призраков и теней,
Меж пульей и ложью — они заодно,
Меж белых и красных огней.

Ибо где он, Гонсалес Мануэль,
Агилар где, скажи скорей?

И где Рамон Фенеллоса теперь?
Об этом спроси у червей.

И имя, и дело твое зачеркнут
До того, как костям истлеть.
А ложь, что убила тебя, погребут
Под ложью, чтоб ей не взлететь.

Но то, что в тебе увидел я,
Насилием не сломить,
Чисты твой дух и совесть твоя —
Их бомбами не убить.

1942 г.

«Мы» Е. И. Замятина

В мои руки наконец-то попала книга Замятина «Мы», о существовании которой я слышал еще несколько лет тому назад и которая представляет собой любопытный литературный феномен нашего книгожигательного века. Из книги Глеба Струве «Двадцать пять лет советской русской литературы» я узнал следующее.

Замятин, умерший в Париже в 1937 году, был русский писатель и критик, он опубликовал ряд книг как до, так и после революции. «Мы» написаны около 1923 года, и хотя речь там вовсе не о России и нет прямой связи с современной политикой — это фантастическая картина жизни в двадцать шестом веке нашей эры, — сочинение было запрещено к публикации по причинам идеологического характера. Копия рукописи попала за рубеж, и роман был издан в переводах на английский, французский и чешский, но так и не появился на русском. Английский перевод был издан в США, но я не сумел достать его; а французский перевод (под названием “Nous Autres”) мне наконец удалось заполучить. Насколько я могу судить, это не первоклассная книга, но, конечно, весьма необычная, и удивительно, что ни один английский издатель не проявил достаточно предприимчивости, чтобы перепечатать ее.

Первое, что бросается в глаза при чтении «Мы» — факт, я думаю, до сих пор не замеченный, — что роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», видимо, отчасти обязан своим появлением этой книге. Оба произведения рассказывают о бунте человеческого духа против рационального, механизированного, бесчувственного мира, в обоих произведениях действие перенесено на шестьсот лет вперед. Атмосфера обеих книг схожа, и изображается, грубо говоря, один и тот же тип общества, хотя у Хаксли не так явно ощу-

щается политический подтекст и заметнее влияние новейших биологических и психологических теорий.

В романе Замятина в двадцать шестом веке жители Утопии настолько утратили свою индивидуальность, что различаются по номерам. Живут они в стеклянных домах (это написано еще до изобретения телевидения), что позволяет политической полиции, именуемой «Хранители», без труда надзирать за ними. Все носят одинаковую униформу и обычно друг к другу обращаются либо как «номер такой-то», либо «юнифа» (униформа). Питаются искусственной пищей и в час отдыха маршируют по четверо в ряд под звуки гимна Единого Государства, льющиеся из репродукторов. В положенный перерыв им позволено на час (известный как «сексуальный час») опустить шторы своих стеклянных жилищ. Брак, конечно, упразднен, но сексуальная жизнь не представляется вовсе уж беспорядочной. Для любовных утех каждый имеет нечто вроде чековой книжки с розовыми билетами, и партнер, с которым проведен один из назначенных сексчасов, подписывает корешок талона. Во главе Единого Государства стоит некто, именуемый Благодетелем, которого ежегодно переизбирают всем населением, как правило, единогласно. Руководящий принцип Государства состоит в том, что счастье и свобода несовместимы. Человек был счастлив в саду Эдема, но в безрассудстве своим потребовал свободы и был изгнан в пустыню. Ныне Единое Государство вновь даровало ему счастье, лишив свободы.

Итак, сходство с романом «О дивный новый мир» разительное. И хотя книга Замятина не так удачно построена — у нее довольно вялый и отрывочный сюжет, слишком сложный для краткого резюме, — она заключает в себе политический смысл, отсутствующий в романе Хаксли. У Хаксли проблема «человеческой природы» отчасти решена, ибо считается, что с помощью дородового лечения, наркотиков и гипнотического внушения развитию человеческого организма можно придать любую желаемую форму физического и умственного развития. Первоклассный научный работник выводится так же легко, как и полудиот касты Эпсилон, и в обоих случаях остатки примитивных инстинктов, вроде материнского чувства или жажды свободы, легко устраняются. Однако остается непонятной причина столь изощренного разделения изображаемого общества на касты. Это не

экономическая эксплуатация, но и не стремление запугать и подавить. Тут не существует ни голода, ни жестокости, ни каких-либо лишений. У верхов нет серьезных причин оставаться на вершине власти, и хотя в бессмысленности каждый обрел счастье, жизнь стала настолько пустой, что трудно поверить, будто такое общество могло бы существовать.

Книга Замятина, в целом, по духу ближе нашему сегодняшнему дню. Вопреки воспитанию и бдительности Хранителей, многие древние человеческие инстинкты продолжают действовать. Рассказчик, Д-503, талантливый инженер, но в сущности заурядная личность, вроде утопического Билли Брауна из города Лондона, живет в постоянном страхе, ощущая себя в плену атавистических желаний. Он влюбляется (а это, конечно, преступление) в некую 1-330, члена подпольного движения сопротивления, которой удастся на время втянуть его в подготовку мятежа. Вспыхивает мятеж, и становится ясно, что у Благодетеля много противников, эти люди не только замышляют государственный переворот, но за спущенными шторами предаются таким тяжким грехам, как сигареты и алкоголь. В конечном счете Д-503 удается избежать последствий своего безрассудного шага. Власти объявляют, что причина недавних беспорядков установлена: оказывается, ряд людей страдает от болезни, именуемой фантазия. Организован специальный нервный центр по борьбе с фантазией, и болезнь излечивается рентгеновским облучением. Д-503 подвергается операции, после чего ему легко совершить то, что он всегда считал своим долгом — то есть выдать сообщников полиции. В полном спокойствии наблюдает он, как пытаются 1-330 под стеклянным колоколом, откачивая из-под него воздух: «Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла,— смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля».

Машина Благодетеля — это гильотина. В замятинской Утопии казни — дело привычное. Они совершаются публич-

но, в присутствии Благодетеля, и сопровождаются чтением хвалебных од в исполнении официальных поэтов. Гильотина — конечно, уже не грубая махина былых времен, а усовершенствованный аппарат, буквально в мгновение уничтожающий жертву, от которой остается облако пара и лужа чистой воды. Казнь, по сути, является принесением в жертву человека, и этот ритуал пронизан мрачным духом рабовладельческих цивилизаций древнего мира. Именно это интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма — жертвенности, жестокости как самоцели, обожания Вождя, наделенного божественными чертами, — ставит книгу Замятина выше книги Хаксли.

Легко понять, почему она была запрещена. Следующий разговор (я даю его в сокращении) между Д-503 и 1-330 был бы вполне достаточным поводом для цензора схватиться за синий карандаш:

«— Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете — это революция? ... Это нелепо!

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо потому, что революции не может быть. Потому... что наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

— Милый мой: ты — математик. ... Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? ... какое последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, 1,— это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию?»

Встречаются и другие пассажи в том же духе. Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация. Я не читал других его книг, но знаю от Глеба Струве, что он прожил несколько лет в Англии и создал острые сатиры на английскую жизнь. Роман «Мы» явно свидетельствует, что автор определенно

тяготел к примитивизму. Арестованный царским правительством в 1906 году, в 1922-м, при большевиках, он оказался в том же тюремном коридоре той же тюрьмы, поэтому у него не было оснований восхищаться современными ему политическими режимами, но его книга — не просто результат озлобления. Это исследование сущности Машины — джинна, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад. Такая книга достойна внимания, когда появится ее английское издание.

«Трибьюн», 4 января 1946 г.

Подавление литературы

С год тому назад мне довелось побывать на собрании, организованном Пен-клубом по случаю трехсотлетия выхода «Ареопагитики» Мильтона — памфлета, хочу напомнить, в защиту свободы печати. На листовках с объявлением о собрании — их распространили заранее — было напечатано знаменитое изречение Мильтона о грехе «убиения» книги.

Ораторов было четверо. Один произнес речь действительно о свободе печати, но только в Индии; второй довольно неуверенно и крайне расплывчато высказался в том духе, что свобода вообще вещь прекрасная; третий взял под обстрел законодательство против непристойности в литературе. Четвертый большую часть своей речи посвятил защите «чисток» в России. Выступления из зала либо касались вопросов непристойности и соответствующих законов, либо представляли собой откровенные славословия Советской России. В целом все высказались за свободу нравственности — свободу обсуждать в печати проблемы пола; о политической свободе никто, однако, не сказал ни слова. Среди нескольких сотен собравшихся, половина из которых, вероятно, имела к писательству прямое отношение, не нашлось ни единого, кто бы сумел довести до сознания, что если «свобода печати» что-то и значит, так это свободу критики и оппозиции. Показательно, что никто из выступавших не обратил к тексту памфлета, юбилей которого они, по всей видимости, пришли отметить. Не были упомянуты и различные книги, «убитые» у нас и в Соединенных Штатах в годы войны. В конечном итоге собрание стало демонстрацией в поддержку цензуры*.

* Справедливости ради замечу, что торжества в Пен-клубе, занявшие больше недели, не все проводились на одном и том же уровне. Мне просто выпал неудачный день. Но знакомство с речами (их сборник опубликован под названием «Свобода слова») показывает, что в наши с вами времена почти не осталось людей, способных отстаивать свободу мысли так же убедительно, как то удавалось Мильтону триста лет тому назад, — и это при том, что он писал в эпоху гражданской войны. (Прим. автора.)

Это не столь уж и удивительно. В наш век само понятие свободы мысли подвергается нападкам с двух сторон: с одной — его врагов в теории, апологетов тоталитаризма; с другой — его непосредственных врагов на практике, монополий и бюрократии. Любой писатель или журналист, желающий оставаться честным, обнаруживает, что ему мешают не столько прямые преследования, сколько общественные тенденции. Против него работают такие явления, как концентрация печати в руках горстки богачей; монополия на радио и в кинематографе; нежелание публики тратить деньги на книги, что вынуждает едва ли не всех писателей зарабатывать на хлеб еще и литературной поденщиной; расширение деятельности официальных организаций вроде Министерства информации* и Британского Совета, которые помогают писателю держаться на плаву, но зато отнимают у него время и диктуют, что ему думать; и военная обстановка долгого последнего десятилетия, разлагающего воздействия которой никто не смог избежать. В наш век все направлено на то, чтобы писателя, да, впрочем, и любого другого художника, превратить в мелкого служащего — пусть его разрабатывает спущенные «сверху» темы и никогда не говорит всей правды, как он ее понимает. Однако в борьбе с этой предписанной ему ролью он не получает помощи от своих: нет такого влиятельного общественного мнения, которое укрепило бы его в сознании своей правоты. В прошлом, по крайней мере на всем протяжении протестантских веков, представление о бунте совпадало с представлением о честности мышления. Еретиком — в политике, морали, религии или эстетике — был тот, кто отказывался насиловать собственную совесть. Еретическое мировоззрение подытожено в словах возрожденческого** гимна:

Посмею быть Даниилом,
Посмею один против всех;
Посмею цель себе выбрать,
Посмею поведать о ней.

Чтобы привести этот гимн в соответствие с днем сегодняшним, каждую строку следует начать с частицы «не». Ибо отличие нашего века таково, что бунтари против существу-

* Существовало в периоды первой и второй мировых войн; в 1946 г. преобразовано в Центральное управление информации.

** Возрожденцы — протестантская секта.

щего порядка, по крайней мере самые многочисленные и типичные, одновременно отвергают и понятие личности. «Посмею один против всех» — равно преступно идеологически и опасно на деле. Неясные экономические силы разъедают независимость писателя и художника; в то же время ее подтачивают те, кто призван ее защищать. О последних я и говорю на этих страницах.

Доводы, что приводят обычно противники свободы мысли и свободы печати, не стоят того, чтобы с ними возиться. У любого лектора и спорщика с опытом они навязли в зубах. Я не стану опровергать здесь избитые заявления о том, что свобода — это иллюзия или что в тоталитарных государствах свободы больше, чем в демократических, но остановлюсь на куда более тонком и опасном утверждении, будто свобода *нежелательна*, а честность мышления — это форма антиобщественного себялюбия. Хотя, как правило, на первый план выступают другие стороны вопроса, спор о свободе слова и свободе печати в основе своей — спор о желательности или, напротив, недопустимости лжи. В сущности, речь идет о праве освещать текущие события правдиво — разумеется, с поправкой на неосведомленность, пристрастность и самообман, которые неизбежно свойственны любому наблюдателю. Мои слова могут быть поняты в том плане, что изо всех видов литературы сказанное имеет отношение только к прямому репортажу; однако дальше я постараюсь показать, что на любом литературном уровне и скорее всего в каждом из искусств возникает — в том или ином преломлении — все та же проблема. Но прежде необходимо отбросить шелуху не относящихся к делу частных случаев, которой обычно обрастает эта запутанная полемика.

Враги свободы мысли всегда стремятся представить свою точку зрения как защиту дисциплины от индивидуализма. Проблема «правда-против-лжи», поелику возможно, отодвигается ими на задний план. Акценты бывают различными, но писателя, отказывающегося продавать свои убеждения, неизменно клеймят как жалкого *эгоиста*. То есть обвиняют либо в желании замкнуться в «башне из слоновой кости», либо в духовном эксгибиционизме, либо в попытке помешать неизбежному ходу истории тем, что он цепляется за несправедные привилегии. Католики и коммунисты имеют одно общее — считают противную сторону неспособной быть од-

новременно честной и умной. И те и другие исходят из того, что «истина» уже открыта и еретик, если он не безнадежный дурак, втайне «истину» знает, но не признает из чисто эгоистических соображений. В коммунистической литературе нападки на свободу мысли, как правило, обставляются рассуждениями о «мелкобуржуазном индивидуализме», «иллюзиях либерализма XIX века» и тому подобном и подкрепляются ругательными эпитетами типа «романтический» и «сентиментальный», на которые трудно что-нибудь возразить, поскольку всяк понимает их по-своему. Таким манером спор уводится в сторону от настоящей проблемы. Можно принять, и наиболее просвещенные люди готовы принять коммунистическое положение о том, что абсолютная свобода станет возможна только в бесклассовом обществе и почти свободен тот, кто работает на приближение этого общества. Но заодно протаскивается и совершенно необоснованное утверждение, будто сама коммунистическая партия нацелена на построение бесклассового общества и что в СССР эта цель уже осуществляется. Если признать, что второе утверждение вытекает из первого, тогда можно найти оправдание практически любому насилию над здравым смыслом и элементарной порядочностью. Тем временем, однако, суть дела уже размыта. Ведь свобода мысли означает свободу говорить и писать о том, что увидел, услышал, почувствовал, а не обязанность сочинять несуществующие факты и чувства. Привычные тирады против «бегства от жизни», «индивидуализма», «романтизма» и так далее — всего лишь демагогический прием, призванный выдавать искажение истории за нечто благопристойное.

Остаивая свободу мысли пятнадцать лет тому назад, приходилось защищать ее от консерваторов, от католиков, в какой-то степени — потому что в Англии они не играли существенной роли — от фашистов. Теперь ее приходится защищать от коммунистов и «попутчиков». Не следует преувеличивать непосредственное влияние малочисленной английской компартии, но одурманивающее воздействие русского *mythos** на английскую интеллектуальную жизнь не вызывает сомнения. Из-за него известные факты так скрывают и искажают, что возникает вопрос — можно ли будет хоть когда-то написать подлинную историю нашего

* Миф, мифологические представления (*греч.*).

времени? Позволю себе привести один из бесчисленных имеющихся примеров. Когда Германия потерпела крах, выяснилось, что огромная масса советских граждан — в основном, безусловно, по причинам совсем не политическим — переметнулась к противнику и воевала на стороне немцев. Кроме того, небольшое, но отнюдь не ничтожное число русских военнопленных и перемещенных лиц отказалось возвратиться в СССР, и по крайней мере некоторых из них репатриировали в принудительном порядке. Эти факты, сразу же ставшие известными многим журналистам, британская пресса почти полностью обошла молчанием, хотя в то же самое время просоветски настроенные публицисты в Англии продолжали искать оправдания казням и ссылкам 1936—1938 годов, заявляя, что в СССР «не было квислингов»*. Туман дезинформации и лжи, окутывающий такие темы, как голод на Украине, гражданская война в Испании, советская политика по отношению к Польше и другие, порожден не одним только сознательным обманом; всякий писатель и журналист, безоговорочно поддерживающий СССР, то есть поддерживающий именно так, как желательно самим русским, вынужден молчаливо соглашаться с заведомым искажением важных вопросов, по которым идет спор. Передо мной редкая, по-видимому, брошюра, написанная Максимом Литвиновым в 1918 году и дающая очерк революционных событий того времени в России. Сталин в ней даже не упомянут, зато высоко оценена роль Троцкого, а также Зиновьева, Каменева и других. Что делать с такой брошюрой даже самому честно мыслящему коммунисту? В лучшем случае, как подобает мракобесу, объявить ее нежелательным документом, подлежащим запрету. Если же по каким-то причинам было бы решено издать эту брошюру с «исправлениями», очернив Троцкого и вставив упоминания о Сталине, против этого не сможет протестовать ни один коммунист, сохраняющий верность партии. В последние годы выходили фальшивки едва ли не столь же чудовищные. Важно, однако, не то, что это происходило, а то, что даже когда об этом становилось известно, левая интеллигенция в целом никак на это не реагировала. На доводы о том, что правда была бы «несвоевременна» или

* Имеется в виду В. Квислинг, норвежский фашист и коллаборационист, предавший родину; его имя стало на Западе нарицательным.

могла кому-то там «сыграть на руку», невозможно вроде бы возразить, и очень немногих тревожит, что ложь, которой они попустительствуют, способна переключаться из газет на страницы исторических сочинений.

Отлаженное вранье, ставшее привычным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой ни говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение негласная легенда о том, что, хотя *сейчас* советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т. п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнаружит. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так, потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что прошлое невозможно изменить и что точность исторического знания — нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать. Тоталитарное государство, в сущности, — теократия, и его правящей касте, чтобы сохранить свое положение, следует выглядеть непогрешимой. А поскольку в действительности не бывает людей непогрешимых, то нередко возникает необходимость перекраивать прошлое, чтобы доказать, что той или иной ошибки не было или что те или иные воображаемые победы имели место на самом деле. Опять же всякий значительный поворот в политике сопровождается соответствующим изменением в теории и переоценках видных исторических деятелей. Такое случается повсюду, но в обществе, где на каждом данном этапе разрешено только *одно-единственное* мнение, это почти неизбежно оборачивается прямой фальсификацией. Тоталитаризм на практике требует непрерывного отказа от веры в самую возможность существования объективной истины. Наши собственные сторонники тоталитаризма склонны, как правило, доказывать, что раз уж абсолютная истина недостижима, то большой обман ничуть не хуже малого. При этом они твердят, что *все* исторические свидетельства пристрастны и неточны, да к тому же и современная физика доказала: воспринимаемое нами как объективная действитель-

ность — обман чувств, поэтому полагаться на собственное восприятие значит всего лишь впасть в примитивное филистерство. Если когда-нибудь где-нибудь бесповоротно восторжествует тоталитарное общество, оно, вероятно, учредит некий шизофренический образ мышления, допускающий опору на здравый смысл в повседневной жизни и в некоторых точных науках и предполагающий отказ от здравого смысла в политике, истории и социологии. Уже появилась масса людей, у кого фальсификация научного учебника вызовет возмущение, но в фальсификации исторического факта они не увидят никакого преступления. Именно в точке пересечения литературы и политики тоталитаризм оказывает на интеллигенцию самое большое давление. Ничего подобного точным наукам в настоящее время не грозит. Это можно отчасти объяснить тем, что в любой стране ученым легче, чем писателям, выстраиваться в затылок своему правительству.

Чтобы не отвлечься от темы, позволю себе повторить сказанное в начале статьи: в Англии *непосредственными* противниками правды, а стало быть и свободы мысли, являются газетные бароны, киномагнаты и бюрократы, но в конечном итоге самый опасный симптом — ослабление тяги к свободе у самой интеллигенции. Может показаться, что я все время рассуждаю о воздействии цензуры не на литературу в целом, а только на одну из областей политической журналистики. Советская Россия образует в британской печати своего рода запретную зону, такие проблемы, как Польша, гражданская война в Испании, советско-германский пакт и так далее, не подлежат серьезному обсуждению, и, коль скоро вы располагаете сведениями, которые противоречат господствующему мнению, вам положено либо извратить эти сведения, либо о них умолчать, — да, все это так, но при чем тут литература в широком смысле слова? Разве всякий писатель — политик, а каждая книга обязательно прямой «репортаж»? И при самой жесткой диктатуре разве не может писатель как личность сохранить внутреннюю свободу и преобразить или перелицевать свои еретические мысли таким образом, что у властей не хватит мозгов их распознать? А если уж сам писатель разделяет господствующие взгляды, почему это должно его непременно сковывать? Ведь литература, как и всякое искусство, расцветает всего успешней

в том обществе, где нет радикального противоречия во мнениях и резкого расхождения между художником и публикой. И так ли уж обязательно предполагать, что каждый писатель — бунтарь или уж непременно личность исключительная?

Всякий раз, как только берешься защищать свободу мысли от посягательств тоталитаризма, сталкиваешься с этими доводами, изложенными в той или иной форме. Они опираются на полностью искаженные представления о том, что такое литература и как — может быть, лучше сказать *почему* — она возникает. Они исходят из предположения, что писатель либо пустой забавник, либо продажный поденщик и так же легко меняет один пропагандистский «ключ» на другой, как шарманка переходит от мелодии к мелодии. Но в конце концов, зачем вообще пишутся книги? За исключением низкопробной беллетристики, литература — это попытка повлиять на взгляды современников путем записи жизненного опыта. И поскольку речь идет о свободе выражения, не так уж и велика разница между простым журналистом и самым «аполитичным» писателем-творцом. Журналист несвободен и ощущает свою несвободу, когда его понуждают писать ложь или замалчивать важное, по его мнению, известие; писатель-творец несвободен, когда ему приходится извращать свои личные чувства, каковые, с его точки зрения, суть факты. Он может показать действительность в искаженном и окарикатуренном виде, чтобы прояснить, что именно хочет сказать, но он не может исказить картину собственного сознания — не может и с малой долей убедительности говорить, что ему нравится то, что не нравится, или он верит в то, во что не верит. Если его заставляют это делать, конец один: его творческий дар иссякает. Если он обходит острые темы, это тоже не выход из положения. Стопроцентно аполитичной литературы не существует, и уж тем более в век, подобный нашему, когда на поверхность сознания выходят чисто политические по своей природе страхи, страсти и приверженности. Даже одно-единственное табу способно искалечить сознание, так как всегда остается опасность, что любая мысль, если позволить ей развиваться свободно, может обернуться запретной мыслью. Из этого следует, что воздух тоталитаризма губителен для любого прозаика, хотя поэт, особенно лирический, возможно, и смог бы им дышать. И во

всяком тоталитарном обществе, сохраняющемся больше двух поколений, возникает угроза гибели художественной прозы — той, что существует на протяжении последних четырех столетий.

Иногда литература процветала и при деспотических режимах, однако, как нам часто напоминают, деспотии прошлого не были тоталитарными. Их аппарат подавления никогда не оказывался на высоте, их правящие классы бывали, как правило, развращены, или равнодушны, или заражены либеральными идеями, а господствующие вероучения обычно не согласовывались с доктринами абсолютного совершенства и человеческой непогрешимости. Но и при всем этом очевидная истина такова, что наивысший расцвет проза переживала в эпохи демократии и свободы мысли. Новизна тоталитаризма — в том, что его доктрины не только неоспоримы, но и переменчивы. Человеку надлежит принимать их под страхом отлучения, однако, с другой стороны, быть всегда готовым к тому, что они в одну минуту могут перемениться. Взять, к примеру, различные, полярно несовместимые позиции, которые английский коммунист или «попутчик» был вынужден занимать в отношении войны между Британией и Германией. До сентября 1939-го ему на протяжении многих лет полагалось возмущаться «ужасами нацизма» и каждым написанным словом клясть Гитлера; после сентября 1939-го ему год и восемь месяцев приходилось верить в то, что Германия претерпела больше несправедливостей, чем творит сама, и словечко «наци», по крайней мере в печатном тексте, было начисто выброшено из словаря. Не успел наш английский коммунист в восемь часов утра 22 июня 1941 года прослушать по радио выпуск последних известий, как ему надлежало вновь уверовать, что мир не видел более чудовищного зла, чем нацизм. Политику, скажем, такие зигзаги даются легко; с писателем — другое дело. Если ему приходится по команде менять ориентацию, он вынужден либо врать о своих подлинных чувствах, либо их решительно подавлять. В любом случае он разрушает свой творческий потенциал. Его не только покинут творческие замыслы — сами слова, к которым он обращается, будут под его пером выглядеть мертвыми. В наше время политические работы чуть ли не целиком строятся из фраз-заготовок, которые подгоняются одна к другой на манер деталей детского конструктора.

Таково неизбежное следствие самоцензуры. Чтобы писать ясным, живым языком, следует мыслить бесстрашно, а если человек бесстрашно мыслит, он не может быть политически правоверным. В «эпоху веры» могло быть по-другому, но тогда и господствующая религия насчитывала много веков, и отношение к ней было не слишком серьезным. В этом случае человек мог или мог бы освободить многие сферы сознания от воздействия официального вероучения. И все же, следует заметить, на протяжении единственной «эпохи веры» в истории Европы проза почти исчезла. За весь период средневековья произведения художественной прозы, можно сказать, не появились, а исторических сочинений было очень немного; властители умов средневекового общества излагали свои самые глубокие мысли на мертвом языке, который едва ли изменился за целое тысячелетие.

Тоталитаризм, однако, сулит нам не столько эпоху веры, сколько эпоху шизофрении. Общество превращается в тоталитарное, когда его структуры становятся вопиюще искусственными, то есть когда его правящий класс утрачивает свое назначение, но силой или обманом продолжает цепляться за власть. Подобное общество, сколь бы долго оно ни сохранялось, никогда не сможет себе позволить терпимости или интеллектуального равновесия. Оно никогда не сможет допустить ни правдивого изложения фактов, ни искренности чувств, потребных для литературного творчества. Но чтобы быть развращенным тоталитаризмом, необязательно жить в тоталитарной стране. Распространение определенных воззрений само по себе способно так отравить все вокруг, что для литературы начнет закрываться тема за темой. Везде, где насаждается ортодоксия — или две ортодоксии, как то нередко случается, — хорошей литературе приходит конец. Гражданская война в Испании — превосходный тому пример. Многих английских интеллигентов она потрясла, но они не могли писать об этом честно и прямо. О войне дозволялось говорить только две вещи, и обе были очевиднейшей ложью; в результате о войне написаны тысячи страниц, а читать почти нечего.

Трудно сказать, воздействует ли тоталитаризм на стихи так же однозначно губительно, как на прозу. В силу взаимодействия целого ряда причин поэту дышится в авторитарическом обществе легче, чем прозаику. Прежде всего, бюро-

краты и прочие «практичные» лица, как правило, слишком презирают поэта, чтобы вникать в то, что он там пишет. Во-вторых, то, что он пишет, — то есть «содержание» стихотворения, переложенное на прозу, — не представляет особого значения даже для самого поэта. Мысль, заключенная в стихотворении, всегда проста и не более для него существенна, чем для картины — первоначальный сюжет. Стихотворение — это сочетание звуков и ассоциаций, подобно тому как картина — сочетание мазков. Больше того, короткие фрагменты поэтического текста, например припев в песне, могут и вообще не нести смысла. Вот почему поэту довольно легко удаётся обходить опасные темы и избегать еретических высказываний; а если он их даже и допускает, они могут проскочить незамеченными. Но самое главное — хорошие стихи, в отличие от хорошей прозы, необязательно результат индивидуального творчества. Поэтические произведения некоторых жанров, например, баллады или, с другой стороны, продукты искусственных версификаторных форм могут создаваться коллективно, в творческом содружестве. Были ли древние английские или шотландские баллады первоначально сочинены отдельными авторами или родились в гуще народной — вопрос спорный; но они, по меньшей мере, величны в том смысле, что беспрерывно изменяются в изустной передаче. Даже в публикации два варианта одной баллады никогда не совпадают полностью. У многих примитивных народов стихи сочиняются всей общиной. Один начинает импровизировать, скорее всего подыгрывая себе на каком-нибудь музыкальном инструменте, другой вступает со своей строкой или рифмой, когда первый замолкает, и так оно продолжается, пока не сложится песня или баллада, которая не имеет конкретного автора.

В прозе такое задушевное сотрудничество совершенно невозможно. Во всяком случае, серьёзную прозу приходится писать в одиночестве, тогда как волнующее осознание себя частью творческой группы и в самом деле способствует созданию определенного типа версификации. Стихи — и, возможно, хорошие стихи на своем уровне, хотя уровень этот не будет самым высоким, — могли бы выжить даже в условиях наиболее драконовского режима. Даже общество, где свобода и индивидуальность истреблены, все равно будет нуждаться либо в патриотических песнях и героических бал-

ладах, славословящих победы, либо в замысловатых льстивых виршах; и такие стихи можно писать по заказу или сочинять коллективно, необязательно лишая их при этом художественной ценности. Проза — другое дело: ставя границы собственной мысли, прозаик тем самым убивает творческое воображение. Но история тоталитарных обществ, групп или объединений, исповедующих тоталитаризм, показывает, что утрата свободы враждебна *всем* формам литературы. За годы гитлеровского режима от немецкой литературы почти ничего не осталось, и в Италии положение было немногим лучше. Русская литература, насколько можно судить по переводам, после первых лет революции пришла в заметный упадок, хотя отдельные ее поэтические произведения, очевидно, лучше прозаических. Русских романов, заслуживающих серьезного к себе отношения, за последние пятнадцать лет появилось в переводах считанное число, а может быть, и вообще не появилось. В Западной Европе и в Америке большие отряды литературной интеллигенции либо прошли через членство в коммунистической партии, либо горячо ее поддерживали, однако это массовое левое движение породило удивительно мало книг, которые стоит прочесть. С другой стороны, и правоверный католицизм, похоже, крепко порушил определенные литературные жанры, в первую очередь роман. Много ли наберется за три столетия добрых католиков, которые в то же время были и хорошими романистами? Просто есть вещи, со славословием несовместимые, и тирания — одна из них. Не написано ни единой хорошей книги во славу инквизиции. Поэзия *может* уцелеть в тоталитарные времена; некоторым искусствам или полужансам типа архитектуры тирания могла бы даже пойти на пользу; но прозаику остается единственный выбор — между молчанием и смертью. Проза, какой мы ее знаем, — это дитя разума, протестантской эпохи, независимой индивидуальности. А умерщвление свободы мысли парализует журналиста, социолога, историка, романиста, критика и поэта — именно в такой последовательности. Не исключено, что в будущем возникнет литература нового типа, которая сумеет обходиться без личных чувств и честного изучения жизни, но в настоящее время ничего подобного невозможно представить. Куда вероятнее, что если либеральной культуре, в условиях которой мы существуем с эпохи Возрождения,

придет конец, то вместе с ней погибнет и художественная литература.

Разумеется, печатное слово останется, и любопытно прикинуть, какого рода материалы для чтения уцелеют в жестко тоталитарном обществе. Скорее всего останутся газеты — пока телевидение не поднимется на новую ступень, но, если исключить газеты, уже теперь возникает сомнение — ощущают ли огромные массы народа в промышленно развитых странах необходимость в какой бы то ни было литературе? Во всяком случае, они намерены тратить на печатные издания гораздо меньше того, что тратят на некоторые другие виды досуга. Вероятно, романы и рассказы раз и навсегда уступят место кинофильмам и радиопостановкам. А может, какие-то формы низкопробной сенсационной беллетристики и выживут — ее будут производить своего рода поточным методом, сводящим творческое начало до минимума.

Человеческой изобретательности, видимо, достанет на то, чтобы книги писали машины. Механизированный процесс уже, как легко убедиться, запущен в кино и на радио, в рекламе и пропаганде, а также в примитивных разновидностях журналистики. Например, диснеевские фильмы делаются, по существу, фабричным методом, когда работа выполняется частью механически, частью — бригадами художников, каждый из которых подчиняет собственный стиль общей задаче. Сценарии радиопостановок обычно пишут измотанные литподенщики, которым заранее заданы тема и ее освещение; но и то, что выходит из-под их пера,— всего лишь заготовка, а уж продюсеры и цензура перекраивают ее по-своему. Сказанное справедливо и в отношении бесчисленных книг и брошюр, которые пишутся по заказу правительственных служб. Еще больше напоминает фабрику производство рассказов, романов «с продолжением» и стихов для дешевых журнальчиков. Газеты типа «Райтер»* пестрят объявлениями литературных мастерских, предлагающих вам готовенькие сюжеты по несколько шиллингов за штуку. Некоторые в придачу к сюжету поставляют начальные и завершающие фразы для каждой главы. Другие готовы снабдить вас чем-то вроде алгебраической формулы, с помощью которой вы сами можете конструировать сюжеты. Третьи предлагают наборы карточек с персонажами и ситуациями,

* «Писатель» (англ.).

так что достаточно перетасовать и разложить колоду, чтобы хитрый сюжет составил сам собой. Таким или сходным образом, вероятно, будет делаться литература в тоталитарном обществе, если оно сочтет, что литература пока что ему необходима. Воображение — и даже, насколько возможно, сознание — будет исключено из процесса писания. Бюрократы станут планировать книги по основным показателям, а сами книги — проходить через столько инстанций, что по окончании сохранят не больше от оригинального произведения, чем сходящий с конвейера «форд». Само собой разумеется, все производимое таким образом будет хламом; но все, что *не* хлам, будет представлять опасность для государственного устройства. Если же говорить о литературном наследии, то его потребуется изъять или на худой конец тщательно переписать.

Однако же тоталитаризм нигде не сумел полностью восторжествовать. Наше собственное общество по-прежнему либерально — в широком смысле. Чтобы реализовать право на свободу слова, приходится бороться с экономическим принуждением и с влиятельными тенденциями в общественном мнении, но пока еще не с тайной полицией. Можешь говорить или печатать почти все, если только согласен не привлекать к себе при этом внимания. Но что внушает ужас, так это, как я сказал в начале статьи, сознательная враждебность свободе со стороны тех, кому она должна быть всего дороже. Широкой публике нет дела ни до свободы, ни до ее противников. Она, публика, не одобрит преследований еретика, но и лезть из кожи вон не будет, чтобы его защитить. В массе своей люди слишком здравомыслящи и в то же время слишком недалеки, чтобы воспринять тоталитарные взгляды. Прямое и сознательное наступление на честную мысль ведут сами интеллигенты.

Просоветски настроенная интеллигенция, не подпади она под воздействие именно этого мифа, возможно, поддалась бы какому-нибудь другому, во многом похожему. Но русский миф в любом случае налицо и действует разлагающе. Когда видишь, как высокообразованные люди равнодушно взирают на подавление и преследования, трудно понять, что заслуживает большего презрения — их цинизм или их близорукость. Многие ученые, к примеру, слепо восторгаются СССР. Они, похоже, считают удушение свободы несущественным, по-

стольку поскольку оно в данный момент не затрагивает их собственной деятельности. СССР — огромная быстро развивающаяся страна, которая остро нуждается в научных кадрах и по этой причине им покровительствует. Ученые, если только они за версту обходят опасные дисциплины вроде психологии, — люди привилегированные. Писатели же, напротив, преследуются. Правда, литературные содержанки типа Ильи Эренбурга или Алексея Толстого получают большие деньги, но единственное, что представляет хоть какую-то ценность для писателя как такового, — свобода самовыражения, — у него отнято. Некоторые из английских ученых, с таким восторгом распространяющиеся об огромных возможностях, предоставленных их коллегам в России, способны это хотя бы понять. Но их соображения, судя по всему, таковы: «В России преследуют писателей. Ну и что? Я-то не писатель». Они не видят, что любые посягательства на свободу мысли и на идею объективной истины в конечном счете несут угрозу каждой отрасли знаний.

В настоящее время тоталитарное государство терпит ученого, потому что нуждается в нем. Даже в Германии при нацизме с учеными, исключая евреев, обходились сравнительно хорошо, и немецкое научное сообщество в целом не оказало Гитлеру никакого сопротивления. На нынешнем историческом этапе даже наиболее самодержавный правитель вынужден считаться с материальной реальностью — отчасти из-за пережитков либерального образа мышления, отчасти из-за необходимости готовиться к войне. До тех пор, пока невозможно полностью игнорировать материальную реальность, до тех пор, пока два и два в сумме должны давать четыре при расчете, например, проекта самолета, ученый выполняет свои обязанности и ему даже может быть предоставлена свобода — в определенных границах. Отрезвление придет к нему потом, когда тоталитарное государство основательно утвердится. Но если он намерен защищать честь науки сегодня, его задача — каким-то образом поддержать своих литературных коллег и не отмахиваться: «Пустьяки!» — когда писателям затыкают рот и доводят их до самоубийства, а газеты систематически врут.

Как бы ни обстояло дело с естественными науками или с музыкой, живописью и архитектурой, в одном, как я попытался показать, можно быть твердо уверенным: литерату-

ра обречена, если погибнет свобода мысли. Мало того, что она обречена в любой стране, где сохраняется тоталитарная структура,— любой писатель, воспринимающий тоталитарное мировоззрение и находящий оправдания преследованиям и искажению действительности, тем самым уничтожает в себе писателя. Это неизбежный процесс. Никакие обличения «индивидуализма» и «башни из слоновой кости», никакие благоглупости в том смысле, что «подлинная индивидуальность обретается только в слиянии с обществом», не способны изменить тот факт, что продавшийся ум есть ум порочный. Без непосредственности на том или ином этапе творческого процесса литературное созидание становится невозможным и сам язык коснеет. Когда-нибудь в будущем, если человеческий разум превратится в нечто совершенно отличное от себя нынешнего, мы, возможно, научимся отделять литературное творчество от честной мысли. Но в настоящем мы знаем только, что воображение, подобно некоторым диким животным, не желает размножаться в неволе. Каждый писатель или журналист, эту истину отрицающий,— а почти все теперешние славословия по адресу Советского Союза несут в себе или подразумевают такое отрицание,— по существу, работает тем самым на свое уничтожение.

1945—1946 гг.

Политика против литературы

Взгляд на «Путешествия Гулливера»

В «Путешествиях Гулливера» Свифт ополчается против рода человеческого, точнее, подвергает его критике по меньшей мере с трех сторон, и неизбежно по ходу дела меняется облик главного персонажа, Гулливера. В Первой части он предстает типичным путешественником восемнадцатого века — отважным, самоуверенным, практичным, без всякого романтического ореола; обыденность этой фигуры искусно донесена до читателя при помощи биографических подробностей, которыми он предваряет повествование, указания на возраст (к началу своих приключений он — сорокалетний отец двух детей) и точной описи предметов, находившихся в его карманах, среди них особо выделены очки, он несколько раз их упоминает. Во Второй части облик этот в значительной мере сохранен, но в нужные моменты герой начинает обнаруживать признаки идиотической глупости: хвастливо восславляя «...наше благородное отечество, владыку искусств и оружия, бич Франции» и т. д. и т. п.^{*}, одновременно он предательски выбалтывает все ведомые ему скандальные факты о своей будто бы горячо любимой Англии. В Третьей части он вроде бы тот же, что и в Первой, хотя, общаясь с придворными и учеными, он внушает представление, что социальный статус его несколько повысился. В Четвертой выясняется, что он питает отвращение к роду человеческому, хотя ранее это не ощущалось или ощущалось только моментами; теперь он оказывается каким-то неверующим отшельником с одним только желанием: поселиться в безлюдной местности и размышлять в уединении о добродетелях гуигнгнмов. Впрочем, это вынужденная непоследовательность автора — Гулливер требуется Свифту лишь для

* «Путешествия Гулливера», с. 207. Далее цитаты по изданию: Свифт Дж. Путешествия Гулливера. Пер. под ред. А. Франковского. М.: Гос. изд. худож. лит., 1947.

создания контрастных ситуаций. Он должен выглядеть здравомыслящим в Первой части и хотя бы иногда казаться глупцом во Второй, потому что в обеих книгах автор предпринимает, по сути, один и тот же маневр: ему надо показать человеческое существо в смехотворном виде, представив его человечком в шесть дюймов. Но во всех случаях, когда Гулливер не выставлен на посмешище, характер его сохраняет известную целостность, особенно в таких своих свойствах, как находчивость и наблюдательность ко всему материальному, что его окружает. В общем он остается одним и тем же человеком, изображенным в той же стилистической манере, и когда уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда плывет в открытом океане в утлой ладье, сшитой из шкур йэху. Да и как не понять, что в моменты наибольшего прозрения Гулливер — не кто иной, как сам Свифт; можно привести по меньшей мере один эпизод, в котором Свифт явно дает волю личной обиде на современное общество. Мы помним, что, когда вспыхнул пожар во дворце короля Лилипутии, Гулливер погасил его струей своей мочи. Вместо того чтобы поздравить его с такой находчивостью, Гулливеру сообщают, что он совершил тягчайшее преступление, помочившись на королевский дворец...

«...Меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне».

По мнению профессора Дж. М. Тревельяна («Англия при королеве Анне»), карьере Свифта отчасти помешало то обстоятельство, что королева была шокирована «Сказкой бочки», памфлетом, который — так, очевидно, казалось Свифту — сослужил большую службу английской короне: ведь, обрушиваясь на диссентеров, а еще с большей силой на католиков, автор оставил в покое государственную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» — книга не только пессимистическая, но и мстительная, в которой, особенно в Первой и Третьей частях, Свифт часто опускается до узких политических пристрастий. В ней смешалось все: мелочность и великодушные, республиканизм и дух авторитарности, почтение к ра-

зуму и агностицизм. Столь присущее, как известно, Свифту свирепое отвращение к человеческой плоти становится господствующей чертой лишь в Четвертой части, но эта его одержимость почему-то не удивляет. Чувствуешь, что все эти перемены, все эти перепады настроения терзали одну и ту же личность, а связь между политическими взглядами Свифта и его неизменным отчаянием — одна из самых интересных особенностей этой книги.

В политическом плане Свифт принадлежал к числу тех людей, которых безрассудства современной им прогрессивной партии вигов загоняли в извращенный торизм. Первая часть «Путешествий» при беглом чтении — сатира, высмеивающая претензии человека на величие, если всмотреться внимательнее, может быть воспринята как выступление против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией — войны, которая, как бы ни были низки мотивы союзников, все же спасла Европу от тиранического произвола одной-единственной реакционной державы. Свифт не был якобитом, не был он, строго говоря, и тори, призывал он в этой войне всего лишь к заключению умеренного мирного договора, а не к поражению Англии. И все же в финале Первой части чувствуется некий привкус «квислингизма», что слегка нарушает ее аллегорический замысел. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англии) в Блефуску (Францию), авторская посылка, что человек ростом в шесть дюймов должен вызывать презрение, каким-то образом исчезает. Если жители Лилипутии вели себя по отношению к Гулливеру самым предательским и гнусным образом, то в Блефуску его встречают искренно и радушно, да и весь финал этой части повествования звучит отлично от предшествующих глав. Совершенно ясно, что враждебность Свифта обращена прежде всего на Англию. Именно «ваших туземцев» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега именует «выводком маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности». А длинный пассаж в самом конце, обличающий колониализм и захват территорий, явно относится к Англии, хотя рассказчик самым тщательным образом пытается утверждать противоположное. С немалым ожесточением нападает Свифт в Третьей части и на союзника Англии — Голландию, которая ранее

послужила мишенью для одного из самых знаменитых его памфлетов. Нечто весьма личное звучит и в пассаже, в котором Гулливер высказывает свое удовлетворение тем, что иные из открытых им стран не могут быть превращены в колонии Британской Короны.

«Правда, гуингнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них. ...Представьте себе двадцать тысяч гуингнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт...»

Так как Свифт слов на ветер не бросает, выражение «превращающих в котлету...», надо думать, приоткрывает тайное желание увидеть подвергнутые подобной участи непобедимые войска герцога Мальборо. Есть и другие примеры того же рода. Даже упомянутая в Третьей части страна, где «...большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов», именуется у него Лангден, это — за исключением одной буквы — анаграмма Англии*. (А поскольку в ранних изданиях есть опечатки, возможно, это было задумано как полная анаграмма.) Что говорить, вполне реально физическое отвращение Свифта к роду человеческому, однако возникает чувство, что все эти обличительные нападки на идею величия человека, все эти диатрибы, обращенные против лордов, политиканов, придворных фаворитов и прочих, носят преимущественно локальный характер и объясняются его принадлежностью к партии, потерпевшей поражение. Гневно выступая против несправедливости и гнета, он, однако, не дает никаких оснований считать, что сочувствует демократии. При всем неизмеримом превосходстве силы и влияния Свифта, позиция его была очень близка той, что занимают в наши дни бесчисленные «уменькие» консерваторы, такие, как сэр Алан Герберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон; члены Консервативного Комитета по реформам и целая когорта защитников католицизма, от У. Г. Мэллока

* Langdon — England.

и дальше; все они специализируются на острословии по поводу любых «современных» и «прогрессивных» тенденций и часто высказываются в самом крайнем духе, зная, что на реальный ход событий это повлиять не может. В конце концов можно сказать, что памфлет «Рассуждение об отмене христианства...» весьма напоминает нам манеру «Робкого Тимоти» отпускать веселые шуточки по адресу Мозгового Треста либо отца Рональда Нокса, который вскрывает ошибки Бертрана Рассела. И самый факт, что Свифту так легко простили — простили даже самые благочестивые верующие — кощунственные выходки в его «Сказке бочки», убедительно демонстрирует слабосилие религиозных чувств по сравнению с политическими.

Однако же реакционный склад мышления Свифта проявляется главным образом вне его политических пристрастий. Важную роль играет его отношение к Науке или, в более широком плане, к интеллектуальной пытливости. Знаменитое описание Академии в Лагадо, в Третьей части «Путешествий», было сатирой, и несомненно оправданной, на деятельность большинства так называемых «ученых» его времени. Характерно, что людей, в этой Академии работающих, Свифт именуется «прожекторами», подчеркивая этим, что заняты они не бескорыстными научными исследованиями, а изобретением разного рода устройств, которые должны подменять человеческий труд и приносить небывалые доходы. Но при этом нет никаких оснований полагать — и через всю книгу проходят указания на противоположный вывод, — что и «чистая наука» нашла бы в Свифте своего приверженца. Он уже успел дать хорошего пинка в зад ученым более серьезного толка, когда изложил во Второй части мнения светил науки, призванных королем Бробдингнега, чтобы разъяснить природу миниатюры Гулливера:

«После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как рельплюю сколькатс, что в буквальном переводе означает *Lusus Natural* (игра природы), — определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на скрытые причины, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех

трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания».

Сама по себе эта цитата могла бы свидетельствовать лишь о том, что Свифт — всего лишь враг лженауки. Однако в целом ряде эпизодов он не жалеет сил, чтобы доказать бесполезность любых научных исследований либо спекуляций, если только они не преследуют практическую цель:

«Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления».

Страна гуигнгнмов — идеальных для Свифта существ — отсталое общество даже на уровне простейшей механизации. Они не знают металлов, никогда не слышали о лодках, фактически не занимаются и земледелием (нам сообщено, что овес, которым они кормятся, растет «естественно») и, по всей видимости, не изобрели колеса. (Гуигнгнмов, которые по старости не могут двигаться сами, возят на чем-то «вроде саней» — значит, не на колесах.) У них нет алфавита, им, очевидно, не присуща сколько-нибудь развитая любознательность по отношению к материальному миру. Они не могут поверить, что в мире есть еще какие-либо страны, кроме их собственной, и хотя знакомы с движением луны и солнца и понимают природу затмений — «...это предельное достижение их астрономии». По контрасту, философы летающего острова Лапуты так глубоко погружены в математические размышления, что, дабы привлечь их внимание, надо хлопнуть их по уху надутым пузырем. Они каталогизировали десять тысяч неподвижных звезд, определили периоды движения девяноста трех комет и, опередив астрономов Европы, открыли, что у Марса — две луны; все эти сведения Свифт явно считает чем-то совершенно ненужным, смехотворным и не представляющим интереса. Как можно было ожидать, он видит место ученого — если тот вообще занимается какое-то место в жизни — лишь в лаборатории и считает, что

научные познания не имеют ни малейшей связи с политическими вопросами:

«Но более всего меня поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная склонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же склонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Нет ли чего-то знакомого во фразе «...никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой»? Звучит она вполне в духе высказываний популярных апологетов католицизма, которых как будто бы удивляет, если ученый выражает свое мнение по таким вопросам, как существование бога или бессмертие души. Ученый, говорят нам, является специалистом лишь в определенной, ограниченной области знания, с какой же стати мнения его могут представлять ценность в любой другой сфере? Под этим подразумевается, что теология — такая же точная наука, как, скажем, химия, и священник является таким же специалистом, мнения которого должны почитаться бесспорными. Свифт фактически требует того же для политического деятеля, но при этом идет еще дальше: не соглашается признать ученого — как работающего в сфере «чистой науки», так и занимающегося конкретными исследованиями — личностью, приносящей пользу и в своей области. Даже если бы он не написал Третью часть «Путешествий», книга его в целом дает повод считать, что, как Толстой и Блейк, он с ненавистью относится к самой идее познания природы. «Разум» гуингнмов, которым он так восторгается, в основе своей не означает способности извлекать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя об этом и не говорится прямо, из контекста следует, что под ним подразумевается либо здравый смысл — то есть приятие очевидных явлений и презрение к разного рода софизмам и абстракциям, либо свобода от страстей и предубеждений. В общем мнение его

сводится к тому, что все необходимое мы уже знаем сами и просто не умеем правильно использовать это знание. Так, например, медицина — наука бесплодная, ибо, придерживаясь более естественного образа жизни, мы бы не страдали разными болезнями. Но при всем том Свифт — вовсе не приверженец «простой жизни» и совсем не склонен восхищаться Благородным Дикарем. Он — приверженец цивилизации и всех ее достижений. Он ценит хорошие манеры, умение вести беседу, даже знание литературы и истории, он понимает также необходимость и практическую выгоду изучения сельскохозяйственных наук, архитектуры и навигации. Однако конечная цель его — статическая, лишенная интеллектуальной пытливости цивилизация, точно такой мир, в каком он живет, только немножко почище и поразумнее, без каких-либо радикальных перемен, без дерзких вылазок в неведомое. Он чтит далекое прошлое, в особенности век античности, более, чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от распространенных заблуждений, и полагает, что современный человек за последние столетия резко деградировал*. Очутившись на острове чародеев и волшебников, где можно было по желанию вызвать духов умерших, Гулливер просит: «...вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов». Хотя Свифт в этом разделе Третьей части подверг разрушительной критике правдивость исторических представлений, дух критицизма покидает его, как только он обращается к древним грекам и римлянам. Разумеется, он не приемлет коррупцию имперского Рима, но к некоторым крупным фигурам древнего мира он питает почти безрассудный восторг:

«При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель — величайшее бес-

* Физическая деградация населения, которую, как утверждает Свифт, он наблюдал повсюду, могла быть в то время реальным фактом. Одной из причин ее он считает сифилис, который был тогда в Европе новым явлением и, возможно, носил более жестокие и опасные формы, чем теперь. Новинкой были также в семнадцатом веке спиртные напитки, и это обстоятельство могло вызвать резкое усиление пьянства. (Прим. автора.)

страстие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям... Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мур и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может добавить седьмого члена».

Следует отметить, что из шести человек только один — христианин. Это очень важно. Соединив в одно общее свифтовский пессимизм, его благоговейное отношение к прошлому, отсутствие любознательности, отвращение к человеческому телу, мы, таким образом, обнаружим мировоззрение, характерное для религиозных реакционеров, то есть людей, которые защищают несправедливый общественный строй, утверждая, что в этом мире существенные улучшения невозможны, а главным остается «мир иной». Однако же Свифт не проявляет никаких признаков религиозности, во всяком случае в обычном толковании этого понятия. Похоже, что он не очень-то верует в жизнь после смерти, а представления о благе связаны у него с идеями республиканизма, любовью к свободе, храбростью, доброжелательностью (под которой он понимает дух патриотизма), «разумом» и прочими языческими добродетелями. Все это наводит на мысль, что в облике Свифта есть и нечто не вполне совместимое с его неверием в прогресс и ненавистью к роду человеческому. Начать с того, что в какие-то моменты он бывает «конструктивным» и даже «передовым». Эпизодическая непоследовательность утопии несколько оживляет, а Свифт порой вставляет словечко одобрения в пассаж, сатирический по замыслу. Скажем, мысли свои относительно обучения молодежи он приписывает обитателям Лилипутии, которые выражают по этому поводу мнения, почти совпадающие с правилами гуингнмов. Более того — у лилипутян существует целый ряд общественных и правовых институтов (например, пенсии по старости, а также поощрения тем, кто исполняет закон, и наказания для тех, кто его нарушает), которые он хотел бы видеть в собственной стране. В середине этого пассажа Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле: «Описывая как эти, так и другие законы империи... — добавляет он, — я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих

ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения». Но поскольку предполагается, что Лилипутия призвана изображать Англию, а в Англии нет ничего похожего на установления, о которых идет речь, совершенно ясно, что Свифт поддался импульсу выступить с конструктивными предложениями. Величайшим его вкладом в политическую мысль — в узком смысле этого понятия — надо считать гневный сарказм, который он обрушивает, особенно в Третьей части, на тоталитарное, выражаясь по-современному, общество. С необыкновенной провидческой ясностью видит он кишашее шпионами «полицейское государство» с его бесконечной охотой на еретиков и судами над «изменниками родины», рассчитанными на то, чтобы нейтрализовать народное недовольство, обращая его в военную истерию. При этом стоит вспомнить, что Свифту удалось развернуть картину целого по незначительным деталям, так как маломощные правительства в его эпоху не давали возможности полностью подтвердить то, что было создано его воображением. Так, например, один из профессоров «школы политических прожектеров» показал Гулливеру обширную рукопись «инструкций для открытия противоправительственных заговоров» и заявил, что можно распознавать самые тайные помыслы людей, исследуя их экскременты, «...ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточены, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только о поднятии восстания или о поджоге столицы».

Этот профессор и его теория были подсказаны Свифту, полагают литературоведы, одним — не столь уж удивительным или отвратительным на наш взгляд — фактом: в одном из государственных судебных процессов того времени были использованы в качестве улики письма, найденные в чьем-то нужнике. А несколько ниже, в той же самой главе мы словно попадаем в самый разгар русских политических процессов 1930 годов:

«В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден... большая часть населения состоит сплошь из развед-

чиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных...

...Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. ...Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так N будет означать заговор; В — кавалерийский полк; L — флот на море. Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочесть самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморрой», искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод».

Другие профессора этой же школы изобретают упрощенные языки, сочиняют книги с помощью специальных станков, обучают студентов, заставляя их глотать облатки, на которых записан текст урока, предлагают устранять различия в мыслях, производя обмен мозгами посредством отпиливания части затылка... Есть нечто странно знакомое в самой атмосфере этих глав: через все это изобретательное дурачество проходит мысль, что тоталитаризм стремится не только заставить людей думать надлежащим образом, но и притупить их сознание. Да и свифтовское описание вождя, царящего над племенем йэху, и «фаворита», который сначала исполняет грязную работу, чтобы затем стать козлом отпущения, на редкость хорошо вписывается в наше собственное время. Однако следует ли из всего этого, что Свифт был прежде всего и главным образом врагом тирании и борцом за свободу мысли? Нет, собственные убеждения его, насколько можно определить, далеко не столь либеральны. Сомнений не возникает: он действительно не-

навидит лордов, королей, епископов, генералов, светских дам, титулы, знаки отличия и прочую дребедень, но нигде не видно, что о простых людях он более высокого мнения, чем об их правителях, что он стоит за большее социальное равноправие либо увлекается идеями репрезентативных общественных институтов. Общество гуигнгнмов организовано по определенной кастовой системе, в основе которой — расовое начало; слуги, выполняющие самую тяжелую работу, отличаются по цвету от своих хозяев и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лилипутян, подразумевает как нечто совершенно естественное наследственные классовые различия, и дети из беднейших классов вообще не посещают школы, поскольку «...они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особого значения для общества». Не скажешь, что он активно выступал за свободу слова и печати, несмотря на то, что к собственным его писаниям проявлялось очень терпимое отношение. Короля бробдингнегов поражает многочисленность и многообразие религиозных сект и политических группировок в Англии, и он находит, что «...тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества» (в этом контексте попросту еретические), обязан если не изменить их, то во всяком случае держать при себе, ибо: «Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Есть и более тонкое указание на суть собственных взглядов Свифта: мы обнаруживаем его в рассказе о том, каким образом Гулливер был вынужден покинуть страну гуигнгнмов. Свифт нередко предстает перед нами своего рода анархистом, а в Четвертой части создана картина анархического общества, управляемого не Законом в общепринятом смысле слова, а «Разумом», диктат которого, видимо, ни у кого не вызывает возражений. Генеральная ассамблея гуигнгнмов «увещевает» хозяина Гулливера изгнать его из страны, и соседи оказывают на него давление, вынуждая в конце концов дать свое согласие. Они выдвигают две причины: во-первых, присутствие необычного йэху может породить беспорядок в среде этих существ, во-вторых — дружественное отношение гуигнгнма к йэху «...противно разуму и природе и является вещью, никогда

прежде не слыханной у них». Хозяину Гулливера не очень-то хочется подчиниться, но с «увещанием» (нам сообщают, что гуингнму никогда не отдают приказов, его только «увещевают» или «убеждают») необходимо считаться. Эта ситуация очень наглядно обнаруживает тенденцию к тоталитаризму, заключенную в анархистской или пацифистской концепции общества. В обществе, где нет закона и — теоретически — принуждения, общественное мнение является единственным арбитром, определяющим нормы поведения отдельной личности. Но это общественное мнение, в силу огромной тяги стадных животных к единообразию, отличается еще меньшей терпимостью, чем любая система, основанная на законах. Когда человеческое сообщество управляется определенными «заповедями», которые нельзя «преступить», тот или иной индивид имеет возможность проявлять некоторую эксцентричность в своем поведении. Но когда это сообщество управляется — теоретически — лишь «любовью» или «разумом», личность испытывает постоянное давление, вынуждающее ее и думать и поступать как все, без всяких отклонений. Нам сообщают, что гуингнмы почти не ведали разногласий ни по одному вопросу. Единственным вопросом, который они когда-либо подвергли обсуждению, была дальнейшая участь племени йэху. Во всех других случаях никаких поводов для споров не возникало: либо истина была самоочевидна, либо непознаваема и потому не имела значения. В их языке, видимо, вообще не было слова «мнение», а в разговорах не проявлялось различий в «чувствах». Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации общества, стадии, при которой конформизм стал настолько всеобъемлющим, что отпала всякая надобность в полиции. Такое положение дел Свифт явно одобряет, поскольку среди многих его дарований и качеств не нашлось места для любознательности и добродушия. Инакомыслие всегда представляется ему просто извращенностью ума. «Для них разум,— говорит он,— не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; нет, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом». Другими словами, нам уже все обо всем известно,

к чему же нам допускать высказывания противоречащих мнений? Такая установка, естественно, приводит к тоталитарному обществу гуингнмов, где нет ни свободы, ни развития.

Мы справедливо видим в Свифте мятежника и борца против предрассудков, но, не считая второстепенных моментов,— как, например, его убежденность, что женщинам следует получать то же образование, что и мужчинам,— во всем остальном он не дает оснований причислить себя к «левым». Свифт — консервативный анархист, который, презирая власть, не верит в свободу и не расстается с аристократическим взглядом на общество, отлично понимая, что современная ему выродившаяся аристократия достойна лишь презрения. Когда он произносит очередную свою диатрибу против богачей и власть имущих, следует, как я уже сказал, часть его пыла отнести на счет того обстоятельства, что сам он принадлежал к менее удачливой партии и испытал разочарования в личной жизни. По вполне ясным причинам, «аутсайдеры» всегда оказываются радикальнее «своих»*. Но самое существенное у Свифта — его неспособность поверить в то, что можно сделать более достойной нашу брентную жизнь, а не какую-то лишенную плоти рационалистическую схему быта. Разумеется, ни один честный человек не скажет, что сейчас счастье может быть названо нормальным явлением среди взрослых людей, но, быть может, оно когда-нибудь станет таковым,— именно на этом вопросе и зиждется вся серьезная политическая полемика. У Свифта есть много общего — мне кажется, больше, чем было до сих пор замечено,— с Толстым, еще одним мыслителем, не верящим в возможность зем-

* В финале «Путешествий» в качестве типичных образчиков глупости и порочности человека Свифт называет «...судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лже-свидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных». Здесь звучит не знающая удержу ярость человека, лишённого власти. В одну кучу свалены и разрушители, и охранители порядка и права. Если, скажем, надо осудить полковника за то, что он — полковник, то на каких основаниях можно судить предателя? Стремясь покончить с воровством, надо опираться на законы, а следовательно, надо иметь юристов? Но весь этот финальный пассаж, столь сильно пропитанный ненавистью и столь слабо аргументированный, как-то не убеждает читателя. Чувствуется, здесь дана воля личному озлоблению. (Прим. автора.)

ного счастья. Обоим был присущ анархический взгляд на общество, за которым скрывался авторитарный склад ума, оба враждебно относились к науке и нетерпимо — к попыткам оспорить их мнения, оба не способны были придавать значение чему-либо, их лично не интересующему; наконец, и у того и у другого был какой-то ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и по другим причинам. Обоих мучили вопросы пола, но также по разным причинам, общим было лишь искреннее отвращение к сексу, с изрядной примесью болезненного влечения к нему. Толстой был раскаявшимся распутником, который проповедовал воздержание, но до глубокой старости не следовал собственной проповеди. Свифт, по всей вероятности, был импотентом и всегда испытывал какое-то гиперболическое омерзение к человеческим нечистотам, а думал на эту тему непрестанно, о чем свидетельствуют его произведения. Люди такого типа вряд ли способны оценить даже ту мизерную долю счастья, что достается большинству человеческих существ, и — по вполне понятным мотивам — не склонны считать возможными и значительные улучшения в жизни земной. И нелюбопытство их, и нетерпимость — из одного и того же источника.

Омерзение, злость, пессимизм Свифта были бы понятны, взирая он на нашу жизнь как на переходную ступень к «миру иному». Но поскольку ни во что подобное он, очевидно, не верит, возникает необходимость сконструировать некий рай на земной поверхности, ничего общего не имеющий с ведомой нам реальностью. В нем нет места всему, что не нравится Свифту: лжи, глупости, изменам, восторженным чувствам, удовольствиям, любви и грязи. В качестве идеального существа он избирает лошадь — животное, экскременты которого наименее противны. Гуигнгимы очень скучная скотинка — факт настолько общепризнанный, что нет надобности его чем-либо обосновывать. Гений Свифта придал им правдоподобность, но вряд ли найдется много читателей, способных испытывать к ним что-либо, кроме неприязни. И вызвано это чувство совсем не уязвленным самолюбием человека, которому предпочли лошадь; ведь гуигнгимы гораздо больше напоминают людей, чем йэху, и есть некая абсурдная нелогичность в том, что Гулливер, испытывая ужас перед йэху, в то же время видит

в них существа одной с ним породы. Ужас этот охватывает его при первом же взгляде на йэху: «...я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало к себе такое отвращение». Отвращение — но по сравнению с кем? Во всяком случае, не с гуингнмом, потому что ни одного гуингнма он пока еще не встретил. Значит — по сравнению с самим собой, то есть с человеком. Однако в дальнейшем нам сообщается, что йэху — это и есть человек, и человеческое общество делается невыносимым для Гулливера именно потому, что все люди — это йэху. Но в таком случае почему он еще раньше не возымел отвращения к роду человеческому? И вот в попытке свести концы с концами Свифт говорит, что йэху самым фантастическим образом отличаются от людей, являясь в то же время людьми. Свифт явно захлебывается в собственной ненависти, когда кричит своим соплеменникам: «Вы еще грязнее, чем кажетесь!» Но, конечно, испытывать симпатию к йэху нельзя, и непривлекательность гуингнмов объясняется вовсе не тем, что они господствуют над йэху. Непривлекательны они тем, что «Разум», который правит их жизнью, оказывается, по сути, тяготением к смерти. Не ведают они любви и дружбы, любознательности, страха, печали, не ведают гнева и ненависти — если не считать их отношения к йэху, которые в этом обществе занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии. «Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом». «Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуингнмов, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу». Ценят они также беседы, но в беседах этих никогда не высказываются несходные мнения: «...говорилось только о деле, и речи выражались в очень немногих, но полновесных словах». У них строгий контроль над рождаемостью: каждая пара, произведя на свет двух отпрысков, прекращает половые отношения. Браки между молодыми устраивают старшие по евристическим принципам, и в языке их нет слов, обозначающих плотскую любовь. Когда кто-нибудь умирает, родные продолжают обычную жизнь, не испытывая ни малейшей скорби. Все это, вместе взятое, свиде-

тельствует, что стремятся они как можно больше уподобиться трупу, сохраняя при этом физическое существование. Правда, кое-какие черты, им присущие, не укладываются в рамки «разумности» — в их понимании этого слова. Например, они придают особое значение не только физической выносливости, но и атлетике, к тому же любят поэзию. Но эти исключения, быть может, не столь последовательны, как кажется. Вероятно, Свифт подчеркивает атлетические свойства гуингнмов, дабы убедить читателей, что никогда благородные лошади не будут побеждены презренным родом человеческим; а склонность к поэзии присуща им потому, что поэзия представляется Свифту антитезой науки, самого бесполезного, на его взгляд, занятия на свете.

В части Третьей он называет «воображение, фантазию и изобретательность» тремя желательными качествами, которыми не обладают лапутянские математики (несмотря на свою любовь к музыке). Следует предположить, что, хотя Свифт великолепно владел жанром комической поэзии, вероятнее всего наибольшее значение он придавал поэзии дидактической. О стихотворстве гуингнмов он говорит так: «...в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их являются либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или других телесных упражнениях».

Увы, даже гениальный дар Свифта не помог ему создать образчик творения, по которому можно было бы судить о поэтическом искусстве гуингнмов. Но можно представить себе, что это было нечто весьма напыщенное и холодное (по всей вероятности, рифмованные двустихия в размере пятистопного ямба) и в общем не противоречащее принципам «Разума».

Как известно, состояние счастья с большим трудом поддается изображению, и потому картины справедливого, упорядоченного общества редко кажутся привлекательными или убедительными. И все же большинство создателей «положительных» утопий стараются показать, какой может стать наша жизнь, если мы сумеем пользоваться ею более

полно. А Свифт проповедует попросту отказ от полноты жизни, обосновывая это требование тем, что «Разум» означает подавление естественных инстинктов. Поколение за поколением гуингнмы, эти лишенные своей истории существа, ведут осмотрительный и расчетливый образ жизни, поддерживая один и тот же объем населения, не ведая страстей, не зная болезней, с полным безразличием встречая смерть, воспитывая в таком же духе свою молодежь, — и во имя чего? Во имя того, чтобы процесс этот продолжался до бесконечности. У них начисто отсутствуют представления о ценности нашего сегодняшнего бытия на этой земле, либо о том, что можно изменить жизнь и придать ей большую ценность, либо — что надо пожертвовать жизнью ради грядущего блага. Свифт органически не мог сотворить иную утопию, чем унылый мир гуингнмов, раз он не верил в загробную жизнь и не был способен извлекать удовольствие из нормальных человеческих отношений определенного рода. Однако унылый этот мир сочинен автором не потому, что кажется ему столь уж привлекательным сам по себе, — он должен служить оправданием для новых выпадов против рода человеческого. Конечная цель Свифта, как всегда, — унижение человека, для чего следует еще раз напомнить, что человек слаб, жалок и нелеп, а главное — вонюч; а подспудный мотив, надо полагать, какая-то зависть, зависть призрака к живущему, зависть человека, знающего, что счастье ему недоступно, к другим, тем, кто может быть, как он боится, чуть счастливее его. В политическом плане подобное мироощущение выражается либо в реакционности, либо в нигилизме, поскольку такая личность стремится помешать обществу развиваться, что могло бы раскрыть несостоятельность ее пессимизма. Помешать можно двумя способами: взорвать все к черту или стараться отвращать от социальных перемен. В конечном итоге Свифт избрал первый путь: он взорвал свой мир к черту, погрузившись в безумие, но при этом — что я и пытался доказать — политические цели его носили в целом реакционный характер.

Все сказанное может создать впечатление, что я против Свифта и цель моя — опровергнуть или даже принизить этого писателя. Да, в политическом и моральном аспектах я против того, за что он ратует, насколько позиция его

доступна моему пониманию. Но, как ни удивительно, он принадлежит к числу писателей, вызывающих мое безграничное восхищение, а «Путешествия Гулливера» — книга, которой я просто не могу начитаться досыта. Впервые я прочел ее в восемь лет, точнее, за день до своего восьмилетия, потому что я стащил и тайком проглотил приготовленное к моему дню рождения издание «Путешествий», и с тех пор перечитывал их не менее шести раз. Очарование их неувыдаемо. Если бы мне пришлось составить список из шести книг, которые надо спасти от гибели, «Путешествия Гулливера» несомненно оказались бы в этом списке. И потому возникает вопрос: как соотносится наша оценка взглядов писателя с наслаждением, которое доставляет нам его творчество?

Человек, способный проявить интеллектуальную беспристрастность, в состоянии распознать достоинства писателя, с которым глубоко расходится во взглядах, однако наслаждение его творчеством — совсем иное дело. Предположим, что существует такое явление, как искусство хорошее и плохое, — в таком случае и то и другое качества должны быть заложены в самом произведении искусства, конечно, не в отрыве от воспринимающей личности, но независимо от ее расположения духа. Так что с этой точки зрения стихотворение не может казаться хорошим в понедельник и плохим во вторник. Но если вы судите эти стихи по тому душевному, эстетическому отклику, который они у вас вызывают, то такое допущение верно, ведь душевный отклик или эстетическое наслаждение — чисто субъективное состояние, которым нельзя управлять. Читатель — даже с самым развитым эстетическим вкусом — далеко не в каждый момент своего бытия проявляет эстетическое чувство, и чувство это очень легко подавляется. Если вы напуганы или голодны, мучаетесь зубами или морской болезнью, то «Король Лир» кажется вам не лучше «Питера Пэна». Умом вы понимаете, что лучше, но пока что для вас это просто факт, запавший в память, и ощутить достоинства «Лира» вы сможете, только вернувшись в нормальное состояние. И столь же разрушительно, нет, еще более разрушительно, потому что причины этого не сразу осознаются, воздействует неприятие вами политической или моральной позиции автора. Если книга вызывает у вас гнев, если она звучит оскорбительно или внушает

тревогу, то, каковы бы ни были ее литературные достоинства, удовольствия она вам не доставит. А если она представляется вам по-настоящему вредным произведением, которое может скверно влиять на читателей, не исключено, что вы постараетесь выработать соответствующую эстетическую установку, позволяющую опровергнуть и художественные ее достоинства. Большая часть нашей современной литературной критики сводится к такому непрестанному лавированию между двумя разными критериями. И все же вполне возможен и противоположный результат: читательское удовольствие побеждает внутреннее сопротивление, притом что вы отлично сознаете свою враждебность идеям автора, книга которого вас так увлекает. Отличный пример — Свифт, писатель со столь неприемлемым для большинства людей взглядом на мир и в то же время столь популярный. Как же это получается: мы терпим, когда нас именуют йэшу, будучи твердо уверенными, что никакие мы не йэшу?

Недостаточно ответить, что Свифт, конечно, заблуждался, он был сумасшедшим, но он был «хорошим писателем». Верно, что в какой-то незначительной мере литературные достоинства произведения отделимы от его содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, подобно тому как есть люди «с точным глазом», который помогает им в играх. Дело здесь заключено главным образом в инстинктивном умении расставлять акценты — в нужный момент и нужной силы. Вот первый пришедший на ум пример: прочтите уже цитированный мною пассаж, начинающийся словами: «В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден...» Особую силу придает ему финальная фраза: «Это и есть анаграмматический метод». Фраза, строго говоря, ненужная, ибо «анаграмматический метод» только что был подробно описан, но именно издевательская торжественность повтора, когда нам словно слышен голос самого Свифта, изрекающего эти слова, вбивает в сознание всю идиотичность происходящего — последний удар молотка, вогнавшего гвоздь по самую шляпку. Однако же ничто, ни мощная простота свифтовской прозы, ни напор его воображения, благодаря которому картины совершенно невероятных миров оказываются убедительнее и правдоподобнее, чем большая часть исторических исследований, не позволило бы нам наслаждаться чтением Свифта, будь его взгляд на мир истинно

отталкивающим и оскорбительным. Миллионы читателей во многих странах увлекались «Путешествиями Гулливера», в большей или меньшей мере ощущая антигуманистический подтекст книги. И даже до ребенка, читающего Первую и Вторую части просто как приключенческую историю, доходит абсурдность шестидюймовых человечков, претендующих на звание людей. Объяснение, очевидно, кроется в том, что взгляд Свифта на мир не воспринимается как полностью ложный или, точнее, не всегда воспринимается как ложный. Свифт — неизлечимо больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессии — состоянии, которое большинство людей испытывает лишь периодически; представим себе, что человеку, страдающему разлитием желчи или еще не оправившемуся от тяжелого гриппа, хватает энергии, чтобы писать книги. Всем знакомо это состояние, и какая-то струнка в нас отзывается, когда мы встречаем его в литературном произведении. Возьмем, например, одно из характерных стихотворений Свифта «Туалетная комната дамы» или в том же духе написанное «На отход ко сну прелестной юной нимфы». Что истинней: точка зрения Свифта, выраженная в этих стихах, или видение Блейка, запечатленное в строке «Божественно ее нагое тело»? Блейк, бесспорно, ближе к правде, но кому не доставит удовольствия зрелище развенчанной подделки — фальшивой женской утонченности? Свифт искажает реальность в своих картинах мира, потому что отказывается видеть в нем что-либо, кроме грязи, глупости и пороков, но ведь часть, извлекаемая им из целого, действительно существует, и все мы это знаем, однако предпочитая не касаться подобных тем. Частью своего разума, у нормального человека преобладающей, мы верим в то, что человек — благородное животное и жить на этой земле стоит, но есть в каждом из нас некое внутреннее «я», и порою оно в ужасе отшатывается от кошмара существования. Радости и отвращение сплетаются воедино непостижимейшим образом. Тело человеческое прекрасно, но оно может быть уродливым и смешным — в чем легко убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы служат предметом вождения, но и омерзения; ведь недаром почти во всех языках названия их звучат как непристойные ругательства. Мясо необыкновенно вкусно, но в лавке мясника нас тошнит, да и все, чем мы питаемся, в конечном счете — производное от навоза

и мертвечины, двух самых отвратительных для нас вещей на свете. Вышедший из младенческого возраста, но еще сохраняющий свежий взгляд на окружающее ребенок постоянно испытывает не только удивление, но и чувство пугливого отвращения: к соплям и плевкам, к собачьему дерьму на тротуаре, к издыхающей жабе, в которой шевелятся черви, к запаху потных тел взрослых, к безобразию стариков с их голыми черепами и шишковатыми носами. Бесконечно толкуя о всевозможных болезнях, грязи и уродствах, Свифт, по существу, не открывает нам ничего нового, он просто говорит не обо всем. Правдиво описывает он также и поведение человека, особенно в сфере политики, хотя и здесь существуют другие, более важные факторы, которых он признавать не желает. По нашему разумению, и ужас и боль необходимы для продолжения жизни на этой планете, что дает основания пессимистам подобным Свифту задаваться вопросом: «Если ужас и боль неотъемлемы от нашего бытия, как можно надеяться сделать жизнь лучше?» В основе своей это — христианская доктрина минус посулы «мира иного», который, вероятно, меньше владеет душами верующих, чем убежденность, что земная жизнь — юдоль слез, а могила — место упокоения. Я убежден в ошибочности такого взгляда и в том, что он может самым вредным образом влиять на человеческие поступки, но что-то в нас отзывается на него, как отзывается на мрачное звучание заукойной службы и сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Зачастую высказывается мнение, — во всяком случае теми, кто придает особую важность содержательности литературы, — что книга не может быть «хорошей», отражая заведомо ложный взгляд на жизнь. Нам внушают, что применительно к современности каждое произведение, обладающее подлинными литературными достоинствами, должно быть более или менее «прогрессивным» по своим тенденциям. При этом упускается из виду, что на протяжении всей человеческой истории бушевали такие же войны между прогрессивными и реакционными силами, а лучшие книги в каждую эпоху всегда выражали самые различные позиции, в том числе — заведомо ложные. В той мере, в какой писатель является пропагандистом, самое большее, что можно требовать от него: пусть он искренне верует в то, что высказывает, и пусть не говорит явных глупостей. В наши дни,

например, вполне можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть может, либералом старого толка или обычным консерватором; но нельзя вообразить, что хорошую книгу напишет спирит, бухманит или куклуксклановец. Взгляды писателя должны быть совместимы со здравомыслием — в медицинском смысле этого слова — и с энергией действенной мысли; кроме этого мы ждем от него только таланта, под которым, вероятно, подразумевается убежденность. Свифту не была дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность видения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну потаенную истину. Долговечность «Путешествий Гулливера» доказывает, что мировоззрение, подкрепленное силой убежденности, даже если оно на грани безумия, способно породить великое произведение искусства.

1946 г.

Писатели и Левиафан

О положении писателя в эпоху, когда все находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящаяся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой — иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, иного мы и не заслужили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и сознательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать ту или иную политическую позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные бомбы и прочее в том же роде — вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же, главным образом, пишем, даже если не касаемся всего этого впрямую. По-другому быть не может. Очувтившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но следовательно, мы не просто ограничиваем круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика — сплошной обман: поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений

оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится» или «не нравится», а все прочее лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешешь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, — тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация — за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и так далее, — оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают, поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что, в отличие от своих дедов, мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями

викторианской эпохи, нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего наперед зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом, в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько и есть выбор, однако всегда есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполовину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться,— «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай бог и к тебе прилипнут эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне не известно ни одного случая, когда бы человек говорил о себе, что он «буржуазен», точно так же как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и так далее. Никто всерьез не сомневается, что нынешняя «левая» ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской и ханжеской консервативной ортодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтерион» и (куда менее притязательный) «Лондон меркьюри». Ведь что ни говори, провозглашенной целью «левых» является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у «левых» есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становятся просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология — и научная, и утопическая — разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнута не считавшейся с царями,

правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью, — словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неуязвимой, и легко было предполагать, что если бы только вот *эта* конкретная тирания — капитализм — была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли несколько весьма сомнительных верований — например, во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять — значит губить самих себя; что по природе своей человек добр и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, к примеру, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям монарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж свержважны и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и о том, что на-

циональная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем, исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать это прямо означало бы совершить предательство. Наконец — и здесь возникают самые большие сложности, — левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими процветания, обязательно приходится пережить трудный переходный период, о котором до того, как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис — не какое-то неожиданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной — она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится и мы окажемся вынужденными уравнивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет — по крайней мере, на время. Однако левые партии, сколь ни громогласно выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудрится сохранить процветание. А рабочих, главным образом, и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют, — тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, по всему судя, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса *не может* быть сохранен на достигнутом уровне, уж не говоря о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти,

народным массам тем не менее пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня — такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с нею противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободны от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому — вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла. Не придется рыться в ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что отверженность *любой* политической доктрины с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя они притязают на-

ходиться вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на «изм», приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя — «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный человек просто не может чураться политики да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, помимо более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность *совершать поступки* неприятные, однако необходимые, вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, *но не писателями*. Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо указать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают, как скорее всего и случится. Может быть, для писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще *не касаться* политики в своих книгах? И снова — безусловно, нет! Если ему так хочется, не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партии или, на крайний случай, действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель, может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого, в силу очевидных причин, хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насилловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две несообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в «башне из слоновой кости» немыслимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это грязное и унижительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой политический выбор всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве. В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь

обязанность во всем этом участвовать — а на мой взгляд, ее должен чувствовать каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия, — нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да в общем-то от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, в особенности от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из которых в каком-то смысле есть его целое, он может, коли нужно, действовать не менее решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

1948 г.

Содержание

- 5 *А. Зверев. Неудобный собеседник*
- 18 *Скотный Двор. Сказка. Перевод Л. Беспаловой*
- 90 *Рецензия на «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Перевод А. Шишкина*
- 93 *Мысли в пути. Перевод А. Зверева*
- 98 *Литература и тоталитаризм. Перевод А. Зверева*
- 102 *Уэллс, Гитлер и Всемирное государство. Перевод А. Зверева*
- 109 *Вспоминая войну в Испании. Перевод А. Зверева*
- 132 *«Мы» Е. И. Замятина. Перевод А. Шишкина*
- 137 *Подавление литературы. Перевод В. Скороденко*
- 153 *Политика против литературы. Перевод И. Левидовой*
- 176 *Писатели и Левиафан. Перевод А. Зверева*

Оруэлл Дж.

**Ор 63 Скотный Двор: Сказка, эссе, статьи, рецензии/
Пер. с англ. Сост. и предисл. А. Зверева.— М.:
Известия, 1989.— 192 с. (Библиотека журнала
«Иностранная литература»)**

В книгу известного английского писателя вошли его сатирическая притча о тоталитарном обществе — «Скотный Двор» и эссе разных лет.

О 4703000000-015 75-89
074(02)-89

**ББК 84. 4Вл
И (Англ)**

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ
СКОТНЫЙ ДВОР

Художественный редактор *С. Мухин*
Технический редактор *И. Клыкова*
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1398

Сдано в набор 25.01.89. Подписано в печать 25.09.89. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,72. Тираж 50 000 экз. Зак. № 166. Цена 1 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

В 1989 году в Библиотеке журнала
«Иностранная литература» вышли в свет:

Хорхе Семпрун
(Франция)
«Долгий путь»

Сэмюэль Беккет
(Ирландия)
«Изгнанник»

Урсула Ле Гуин
(США)
«Порог»

Кристоф Хайн
(ГДР)
«Смерть Хорна»

Станислав Игнацы
Виткевич
(Польша)
«Сапожники»

Гилберт Кийт
Честертон
(Великобритания)
«Человек, который
был Четвергом»

Бьёрг Вик
(Норвегия)
«Недостоверные
данные о счастье»

Эдогава Рампо
(Япония)
«Психологический тест»

Антун Шолян
(Югославия)
«Гавань»

Юдора Уэлти
(США)
«Золотой дождь»

Ангелика Мехтель
(ФРГ)
«Но в снах своих
ты размышлял»

Марио Варгас Льоса
(Перу)
«Кто убил Паломино
Молеро?»

Владимир Набоков
(США)
«Лолита»

Чжан Синьсинь,
Сан Е
(Китай)
«Голоса из Китая»

**В 1990 году в Библиотеке журнала
«Иностранная литература» выйдут в свет:**

Р. К. Нараян
(Индия)
«Любитель поговорить»

«Те, кто уходит
из Омеласа»
(США)

Кристобаль Сарагоса
(Испания)
«И Господь на
последнем берегу»

Герберт Бейтс
(Великобритания)
«Пикник»

Эжен Ионеско
(Франция)
«Лысая певица»

Джессика Андерсон
(Австралия)
«Лицедеи»

Октавио Пас
(Мексика)
«Свобода под честное
слово»

Фридрих Дюрренматт
(Швейцария)
«Зимняя война в
Тибете»

Чжан Сянян
(КНР)
«Женщина —
половинка мужчины»

Альберто Савинио
(Италия)
«Вся жизнь»

Йожеф Лендел
(ВНР)
«Незабудки»

Бернард Маламуд
(США)
«Шляпа Рембрандта»

Уильям Шекспир
(Великобритания)
«Король Лир. Мера
за меру. Буря»

Хулио Кортасар
(Аргентина)
«Экзамен»

Лесли П. Хартли
(Великобритания)
«Цена совершенства»

Карен Бликсен
(Дания)
«Карнавал»



Книги английского писателя ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА (псевдоним Эрика Блэра, 1903—1950) — заметная веха в истории общественной мысли XX века. Непримирымый борец за социалистические идеалы, подлинные демократические критерии построения общества, он был свидетелем и летописцем самых уродливых явлений нашего века — колониальной политики британской короны (он родился и вырос в Индии), предательства левой интеллигенции Запада, фашизма, тоталитарного насилия государства над личностью. Его сатирическая притча "Скотный

Двор" (1945), его знаменитая антиутопия "1984" (1949), его очерки, эссе, статьи, посвященные Испании (Оруэлл был бойцом Интербригады и защищал Республику под Барселоной), назначению писателя, самым жгучим проблемам современности — учат нас, его младших современников, главному — мужеству и честности. "Над ним никогда не имела власти политическая конъюнктура, он был не из тех, кто совершает замысловатые идейные маршруты, отдавшись переменчивым общественным ветрам, — пишет А. Зверев в предисловии к сборнику. — Существовали слова, обладавшие для него смыслом безусловным и не подверженным никаким корректировкам, — слово "справедливость", например, или слово "социализм". Можно спорить с тем, как он толковал эти понятия, но не было случая, чтобы Оруэлл бестрепетно сжег то, чему вчера поклонялся..."